

АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ



САД
МОЕЙ
ПАМЯТИ

*«Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь...»*

Давид Самойлов



« Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь...», – произнес однажды поэт для каждого из нас уже-еще живущих. И произнес на века!

Память обитает в Слове, а посему должна быть высказана.

Внятно. Полно. Во всеуслышанье.

Мы так долго молчали, что охватил страх промолчать себя, предков, друзей, свой мир и свой язык.

Долго и тщательно «строители рая земного» культивировали в нас ту самую «пустошь», что аукнулась теперь постсоветским болотом, засасывающем нас со-обща и поодиночке. Партии, религии, идеологии все века пытались собрать людей воедино, но всякий раз получалась толпа, ведомая поводырем и неизвестно насколько зрячим... Мы долго пренебрегали простым природным чувством памяти, которая растит личность и творит землю людей.

Может это чувство от Бога?!

« Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке...» И опомнимся! То есть, наполнимся памятью. Памятью родного языка, а не сленга власти, памятью отца своего, мало и достойно пожившего, светлым образом матери, великими и честными друзьями, неподдельной красотой мира, даже растущей сквозь грязь и кровь...

В этом круге мыслей много лет назад и была затеяна эта книга. Она росла, как деревце, долго и неспешно, едва успевая насытиться солнцем и питаясь светописью. Великое и неизвестное искусство фотографии, явившись в двадцатый век, ущербный до беспамятства, впитало в себя стихию памяти и сохранило приметы века в назидание отрекшимся. Фотография безжалостно «раздевала» тиранов и генералиссимусов, обращала взор миллионов на людские страдания, обесценивала толпу и величала личность. Пропитывая памятью всю нашу повседневность, светопись наполняла семейные альбомы ликами предков и давних друзей, расширяя застиранное время коммунальных квартир до вечности... Неспроста фотографию нарекли искусством мумифицированного времени.

И вот, унаследовав однажды фотографию, я и посадил маленькое деревце собственной памяти, посадил просто так, на авось. Я снимал везде и всюду, мне несказанно везло на удивительные встречи, судьба не раз дарила мне расположение и дружбу великих и добрых людей. Деревце росло, рос и я.

Но вдруг, уже на склоне лет, я с огорчением стал замечать, что жизнь вокруг мощно возвысившегося дерева стала превращаться в некрополь и зарастать крапивой забвения. Будучи к тому времени умелым садовником, я взыскательно спросил себя: «Кладбище или сад?!».

И тогда привиделся сад в форме этой книги. В этом саду я поселил всех добрых и настоящих людей моей провинциальной эпохи, всех наравне, живущих ныне и безвозвратно ушедших,- пусть уютно гуляют вместе в аллее моего просторного сада. А я буду рассказывать им, заодно и читателям, все, что не сумел еще сказать.

Самое сокровенное...

Что проросло во мне за долгие годы...



Было время, когда в Иркутске существовало только две улицы.

Там и происходила вся жизнь...

Набережная Ангары и улица Большая, которую сегодняшним именем называть уже неприлично, ибо кто такой был К.Маркс, мои дети уже, к счастью, не узнают...

Все остальное было дорогами или проходными дворами, по которым и через них мы перебегали по жизни из дома в дом. На этих же двух улицах город жил, здравствовал, помнил себя и мнил городом культурным, каким очевидно, и был на самом деле. Чтобы пройти Большую из конца в конец надо было миновать кинотеатр, музей, снова кинотеатр и еще музей, затем театр, еще театр и снова музей, – еще лучше, если не миновать вовсе..

Ближе к вечеру люди покидали дома и шли по Большой к Ангаре, как на свидание, чтоб увидеться со своей большой рекой и со своей большой городской семьей, На улице было тесно, мы шли навстречу друг другу и вглядывались приветливо во встречные глаза. Было очень уютно оттого и вполне сердечно. Мы жили в городе знакомых лиц, а две его главных улицы были координатными осями его культуры, потому что все происходило здесь, здесь, здесь... Дважды в день Виля Венгер спешил перебежками в театр и успевал, не задерживая шага, раскланиваться с каждым встречным и перебрасываться шутками с друзьями. Здесь прохожие останавливались в поклоне перед всегда невозмутимым Х.Ходосом или провожали взглядом симфонического кумира Леонида Мессмана... Писатели тоже не проходили незамеченными: их все знали, хоть и немногих читали. Здесь был лучший книжный магазин, куда не зайти было нельзя: почти пустые полки и всегдалюдно. Почему-то Марк Давидович любил назначать встречи здесь. Последняя встреча – как было знать?– оказалась последней... Тогда мы предполагали сделать небольшой представительский альбом об Иркутске для его мэрии. Я собрал макет, где красиво легли фотографии, к ним надо было написать точно по смыслу и формату крохотные текстовые миниатюры. Несколькими днями прежде я показал макет Марку и предложил взять его для работы.

– Я все запомнил, Саша! – улыбнулся мне Марк, словно мое предложение было самым лестным в его жизни. То же самое удовольствие я читал в его глазах не раз прежде, когда собирали большой альбом об Иркутске, где он по своей воле добавил в авторскую справку обо мне дополнительные эпитеты – это была спокойная забота о престиже соавтора. Теперь я понимаю цену тех добрых слов и душевных намерений, поскольку уже нет вокруг человека с подобным запасом доброты, и совсем не осталось людей, способных не поморщиться от неприятия. Я припоминаю, как при мне Марка буквально схватил за пуговицу один расторопный репортер и попросил интервью для малоуважаемой маргинальной газеты. Я даже опешил, – настолько оскорбительной была просьба и отвергать ее по-моему можно было только беспощадно... Ровным приветливым тоном Марк попросил не обращаться впредь с подобными просьбами никогда – а я, тем временем, давил свой

гнев...и медленно понимал, что нетерпимость хуже мелкой монеты в карманах. Вот это был урок.

Итак, наша последняя встреча в «Роднике». Беру аккуратные листочки с рукописью и обнаруживаю, что все написано филигранно точно вслед за фотографиями и до строчки по размеру. Но восхититься не успел – Марк, как всегда, опередил мою реакцию: «К вашим фотографиям, Саша, пишется легко и точно». Мне на минуту стало неловко и от своей медлительности, и от лестных слов, и от неспособности их так же легко парировать...

Эта наша работа так и не издана, мне очень жаль и я понемногу расставляю его тексты в наборы открыток об Иркутске, в другие публикации, и горюю по утраченному совершенству.

Но горше – невозможность встреч И вот тогда в промельках сознания начинаешь понимать, может, самый главный секрет его Личности, секрет опережающей доброты.

Эта доброта родилась чуть раньше его самого и стала его Даром, растила его жизнь, подсказывала стихи, переполняла щедростью, собирала друзей, отстраняла недругов...А с уходом Марка в иной мир его доброта осталась здесь и теперь сиротствует где-то около нас...

Мир переменялся и мы, конечно, заметили это. На опустелой Большой выстроились бары, казино, ночные клубы, меж которых мы перемещаемся в иномарках и слушаем публичную чушь о сияющей духовности на месте зияющей культуры. Вроде бы все на месте: и музеи, и театры, и «органы культуры», как выразился знакомый особист, да ничего не происходит, кроме убогих этнических разборок: впору вводить Эстетический Кодекс в дополнение к Уголовному и Налоговому. Тогда и воспрянет культура, только будет она мезозойской...

Но я все равно вижу Марка на Большой. Вижу легко поспешающим к очередной работе или с очередной рукописью в папке...Всех раздражала его всеядность, потешало его вездесущие, настораживало согласие с властью, бестолковой и агрессивной...Ну, как враз разглядеть во всеядности – щедрость работ; в вездесущии – успевание жить; а в согласии с властью – единственную возможность собирания культуры по кусочкам и открывания по крупичкам?! Я посмею сказать, что все ценности нашей провинциальной культуры трех последних десятилетий не миновали при рождении прикосновения Марка, начиная с публикации «Утиной охоты» и до явления пианиста Дениса Мацуева. Хочу надеяться, что помню об этом не я один.

В отличие от Марка, мы родились с печатью, на которой было вырезано «единство и борьба противоположностей». И полжизни мы с чем-нибудь да боролись, легко эту противоположность находя. Мы жили вопреки, и, как теперь оказалось, – вопреки себе. Чего стоили наши самоутверждения, если теперь половину сделанных прежде работ приходится со стыдом выбрасывать,

а шумовые эффекты, производимые нами, давно потерялись в шелесте купюр, как сказал поэт: «...рука, отбросив пистолет, качнулась в сторону стакана.»?!

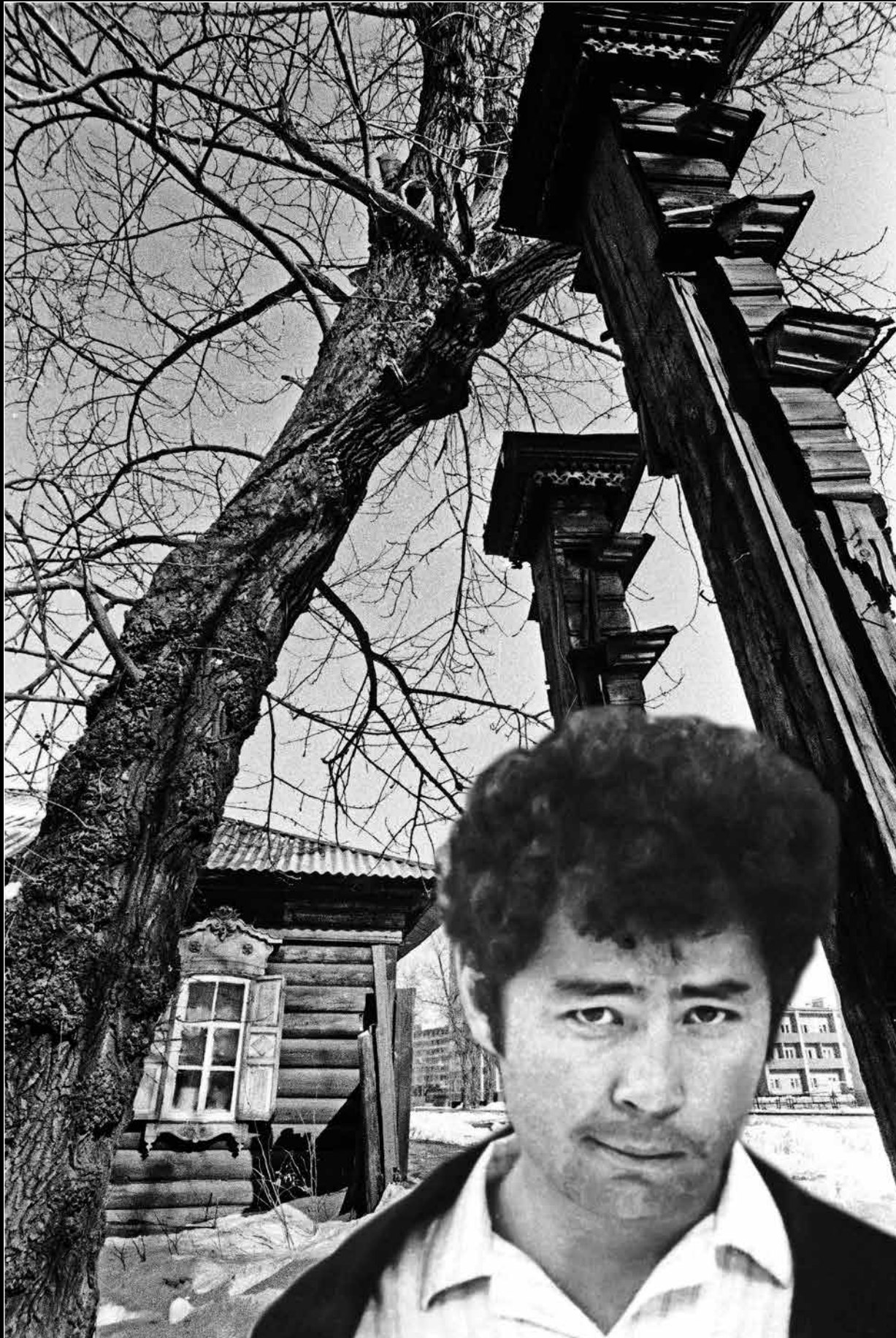
А надо бы просто растить яблоню, прочитав для этого Марка.

На этих яблонях росли улыбки.
И сладкие,и горьковато-кислые,
Медовые, елейные, соленые
на этих яблонях росли улыбки.
Я говорил. А люди мне не верили.
Придумщик ты!– качали головами.
Тогда набрал я целую корзину
улыбок самых спелых
и раздал.
Что тут случилось! Все перемешалось,
Как яблоки в корзине у меня.

И самым первым недруг мой пришел,
и сладко улыбнулся,
и сказал:Давай мириться!
Тихий
молчаливый, вечно сумрачный сосед
шутил с ухмылкой горьковато-кислой:
– Вот так,браток...Верь женщинам...
Весь город солено улыбался и медово,
характеры людей переменялись
от этих яблок из моей корзины.
Но мне, увы, не верили опять.
– Придумщик ты! – качали головами.
зато всю ночь я слышал, как в саду
смеялись яблоки. Их голоса девичьи
перемежались всплеском тишины.
Мне кажется,там кто-то целовался...

Если бы Марк в своей жизни написал только один стих, этот стих, ему кланялись бы, как поэту удивительному. Но я то знаю,что этот стих – еще и автопортрет...

А где-то рядом с нами и,может быть, очень близко к кому-то из нас теперь уже сиротливо улыбается его доброта.



Александр Валентинович Вампилов «посетил сей мир,—теперь всем понятно,— в его минуты роковые...» Посетил ненадолго. Потому столько успел сказать... Потому остался с нами надолго.

Мне было бы неловко писать на его фоне, если б не случилось этой фотографии, где кроны древних ворот оперлись последней надеждой на крону старого, как мир, дерева... Так сложилось...пространство Зилова, ломанное, натужное и безвыходное.

Нашей встречи не произошло, я встретил только его нелепую гибель, успев полюбить его Сарафанова, что вывел за ручку под траурный марш собственного сочинения целое поколение потерянных в ледниковом коммунизме, но прозревающих в переулках старого Иркутска...моих сверстников.

Театр Александра Вампилова раздвинул рампу до площадей, улиц, окраин и переполнился провинциальным беспокойством их обитателей перед собственной судьбой... «Мы бежали от заката!» – неременный позывной его театра, его героев, его поколения.

« Мы бежали от заката,
романтичные, ничьи,
так, как Блок велел когда-то,
так, как Бабель нас учил.

Поселковые поэты,
подражатели листвы,
мы бежали из Тайшета,
из Иркутска, из Москвы.

Вопрошали горожане:
Что вас мучило, мужи?
Мы сказали: – мы бежали
от заката, и бежим...

по России из России,
как никто нас не учил.
Чьи вы? – ангелы спросили.
Мы ответили:– ничьи...

Что вы делали когда-то,
до того, как жизнь прошла? -
нас спросили...
– От заката мы бежали
до светла!»

Закат нас догнал уже в тот миг, как Толя Кобенков, прекрасный поэт, сочинил это послание...

Закат опустился на город, вороньем на древние купола повис, поднял мусорный ветер, что сорвал крыши и распугал птиц, сырую плесень изукрасил цветочками и расставил каменных истуканов поперек людских дорог, чтоб заглядевшись, никто не смог понять свой путь к храму... «Мы обвенчаемся с тобой в планетарии!» – пробует докричаться Зилов через запертую дверь.

Закат объявили вскоре Сиянием... Сумеречные народные кумиры, радетели культуры, дарователи слова и дарители истины, словно с небес спустившиеся, проповедовали на площадях и в библиотеках, изгоняя одних бесов и прислуживая другим... Их навязчивый экзорцизм начинался в приемной новоявленного губернатора, а иссякал вместе с утренним синдромом, принятом ими за литургию...

Бумажным вихрем взвивались доносы и обращения, пасквили и обличения: – Против кого дружим? – вопрошали «инженеры человеческих душ», а пьяное эхо из пустоты только и твердило заученно: «Не мог он ямба от еврея, как мы ни бились, отличить!». Союзы писателей множились, писательские ряды крепчали «сомкнутым строем железных батальонов пролетариата», бронзовея перед компьютером, «... который до сих пор никому не подчиняется».

Пришло таки время «утиной охоты»: одни в пристреле, другие в отстреле, иные в самостреле, а кто-то в скрадке... И все в отлете.

«Слякотные, стуженые, зимние,
вечные ослушники зимы,
это мы – Саяпины и Зиловы,
Алики и Сильвы... Это мы.

С песнями, прикрытыми засовами,
с радостью в келейках без окна,
Вами до морщинки прорисованы,
Вами и оплаканы сполна.

Верующие, мучающие, лгавшие,
потчующие басней соловья,
Старшие ли, младшие ли, падшие,
блудные ли...–Ваши сыновья.»

Город молодых и праздничных талантов, наш первородный Иркутск, опускался в пучину заката, как призрачный град Китеж, оставаясь последней опорой отлетающим птицам: Валерий Шевченко, Иван Вырыпаев, Вячеслав Кокорин, Анатолий Кобенков, Александр Муравьев... Не знаю другого города, столь щедро рождающего таланты и столь угрюмо их изгоняющего...

Но нет другого города и другого глобуса тоже нет... Есть «Утиная охота», одна на всех. Она пугала нас всех своей неразгаданностью в те незыблемые семидесятые, настораживала апокалиптическим нашествием лжи в девяностые...

И лишила нас выбора, оставив наедине с собой, как большая болезнь.

Осунувшиеся и хворые, затворив покрепче за собой дверь и, едва различая в памяти дорогу, мы вернемся в свой город, найдем в нем ворота в детство, а они уже легли, опершись бессильно на древесную крону, как на древо жизни. Так и выстоят вместе.

«Деревья, которые были
маленькими при Вас,
уже тяжелы от пыли
звездной

в полночный час,
книжки, которые с Вами
бежали нестрашной тьмы,
уже за семью холмами
и сами – почти холмы,
холмики,

а подружки,
приятели и друзья – 5
почти старики, старушки
и их не жалеть нельзя.
Осталось не так уж много
из тех, кто Вас помнит:
снег,
деревья, дома, дорога,
да, может быть, человек,
который и ног не вытер,
и шляпу не снял, а вот
стоит и стучится в театр...
А театр еще живет.»

Вот так и случилась наша прогулка с Александром Валентиновичем Вампиловым по старому Иркутску, где добрым спутником и моим Вергилием был поэт Анатолий Кобенков. Хотя этой прогулки не было никогда...

Но память не ведает, что такое «никогда», об этом знает только ворон...

«...и отмеривши шагами
краешек земли,
мы однажды вместе с Вами
полночь перешли.

Александр Валентиныч,
Саня – на часок.
Август спелой паутиной
холодит висок,

чтобы виделось не боле,
чем тому окну,
что глазами – на поле,
а зрачком в страну,

чтоб стакан вина сухого
и полночный час
через песенку Рубцова
рассмешили нас...

И смеемся мы и плачем,
зная наперед:
будет смерть, потом удача,
не наоборот.»

Словно заблудившись в небесной паутине, изменив полет, его юные стихи метеоритным дождем просыпались над Иркутском, – едучи куда-то из Биробиджана, Толя Кобенков остановился в Иркутске повидаться с Марком Сергеевым, – свидание затянулось почти на полвека. И совсем недавно, еще вчера, тесным закатом, Толя собрал рассыпанные камни и отлетел в Москву... А попал в Переделкино, на погост, что ныне стал Пантеоном российской словесности. Что поделать, однажды написанные строки про смерть взыскуют к судьбе, а «не наоборот». Стоит вспомнить другого поэта: «...а старость – это Рим, который взамен турусов и колес / не читки требует с актера, а полной гибели всерьез»

Трубка, рюмочка, очки – вот координаты его бытования в Иркутске последние годы. Трубка – облачно-табачный ритуал, в котором вяжется строка, рюмочка пляшет и позвякивает на столе, вовлекая утолить жажду в веселой беседе, очки уединяют и единят с книгой, что росли, как на грядке, в его библиотеке...

В разреженной поэтической атмосфере Иркутска Толя высился озонным облаком, – в его присутствии всем дышалось легче... Иногда за облаком пряталось солнышко, лучась стихами вниз.



Перечитывая сейчас его стихи, я удивляюсь их многоголосию и плотности,— в мире его стихов соседствуют, как на пиру, великие тени Багрицкого и Мандельштама, Волошина и Иванова, Блока, Бунина и Бальмонта... Он словно тем и занят был, что выстаивал в своей поэзии драгоценный напиток времен, собирая горные травы по шепотке, попыхивая трубочкой с нитроглицерином под языком...

Как в колодец с живой водой однажды Толя опустился в Ветхий и Новый Завет, желая отведать истоков. Обернулось поэтическим Крещением в прекрасной книге «Дни Лета Господня», где Поэт и Читатель «сравнились в талантах».

Время от времени какой-то поэтический вихрь выносил Толю из домашней библиотеки, гнал на улицу и куролесил по мастерским и переулкам.

«Этот город мной прожит,
перечтен, пережит —
от случайных прохожих
до кладбищенских плит.

Он мне душу угробил,
на стишки натаскал,
он меня осугробил,
обдождил, обтесал.

Я не с теми, кто вышел,
чтоб построить и сместить,
ибо с теми, кто выжил
чтоб за столик присесть,

чтобы взяться за кружку,
чтоб к той кружке припасть,
чтоб послать, как подружку,
на три буковки власть...

Я люблю это племя,
этих ангелов дна,
этих военнопленных
трепотни и вина,

этот гул, эту пляску,
полусмех-полустон,
эту страшную тряску
на ухабах времен...

К этим лицам опухшим
к этим жадным губам
я толкнул свою душу
с портвешком пополам.

Пью за пьяную сволочь,
за кураж фраеров,
за подвальную горечь
запрещенных пиров;

среди рыжих и русых,
с кем знаком-незнаком,
пью за взгляд Иисуса,
запыленный дымком...»

Поперек этого стиха я ввалился к нему в дом, ища соавтора, что написал бы десять посвящений Александру Вампилову. Толя сидел «с глазами кролика» за кухонным столом, заварил чай, «женит» его, как полагается, грустно огляделся на себя самого и тихо спросил: — Пять дней у нас есть?

Через неделю мы снова сидели на кухне, возле свежего чая лежала стопка испи-санной на машинке бумаги, я читал строки и немел, «как ротозей, своей же правде чуждый»... Как же я посмел усомниться, не довериться, видя перед собой Мастера?! Почему вслед за сожалением сомнения берут над нами верх, если есть в природе, как данность: чистый лист, слово, весть...

Несбыточное начинается здесь, в Слове, что исполнится по исходу времени, исполнится в памяти, в яви, в речи...

«Детство: еще ни строчки,
Алики пьют компоты,
маленький Витя Зилов
боится мохнатых пчел...

Мир — это ты и мама,
без сцены, без режиссера...
До первой утиной охоты
далече, как до звезды...»

Александр Исаевич благословил целое поколение, мое поколение. И спас его,— знаю точно, знаю по себе. Сначала «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» взорвали соцреализм, обратив его в болото с соответствующей ему фауной. А потом, уже из Кельна донеслась его проповедь «Жить не по лжи».

«Наш путь: ни в чём не поддерживать лжи сознательно!. Осознав, где граница лжи (для каждого она ещё по-разному видна), — отступить от этой гангренозной границы! Не подклеивать мёртвых косточек и чешуек идеологии, не сшивать гнилого тряпья — и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадёт, и чему надлежит быть голым — то явится миру голым.

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остаётся ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:

— впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

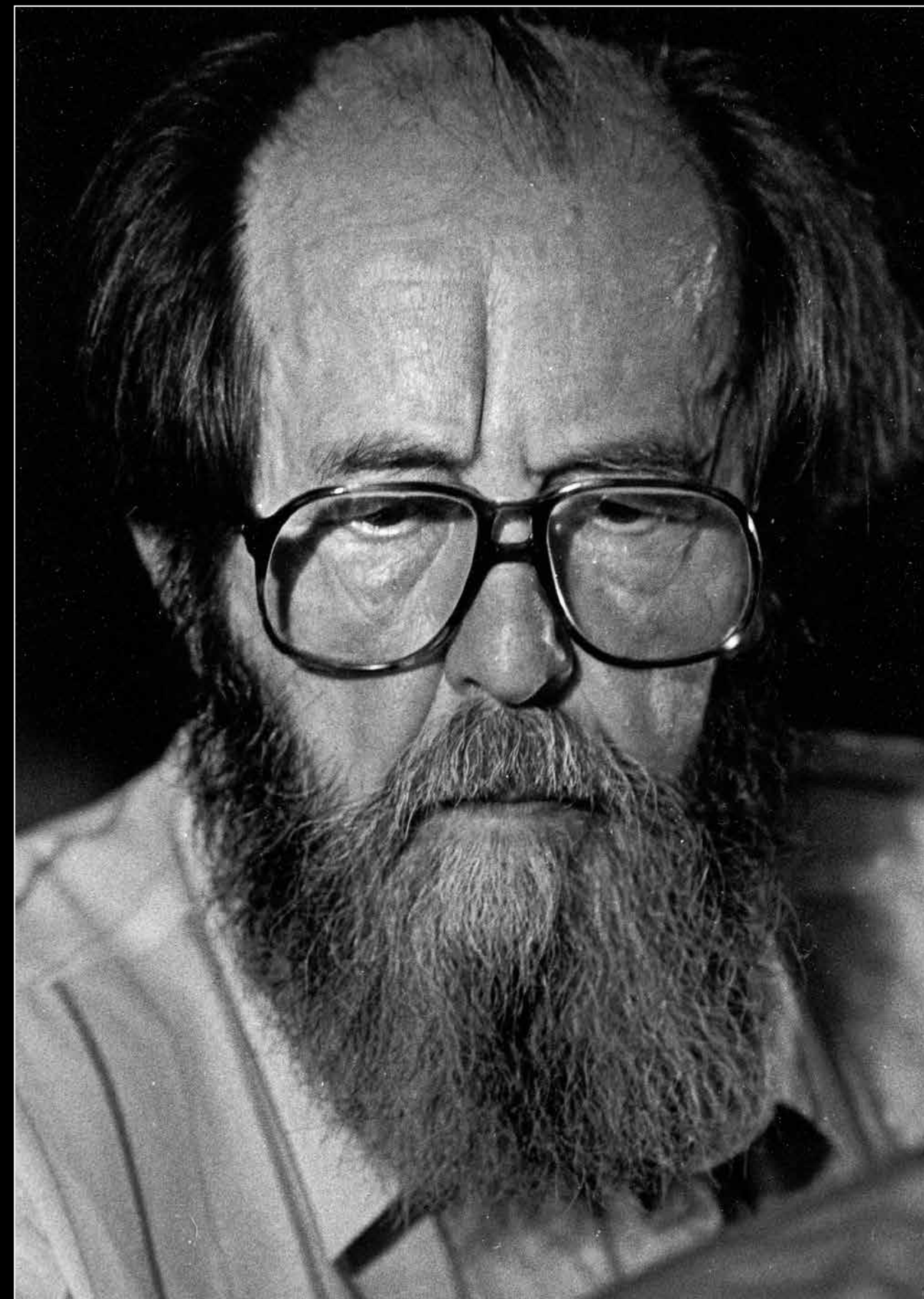
— живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины.»

Проповедь стала прививкой до конца наших дней: сколь бы не шумели «народные витии», а пошумев, оседали в думах и общественных советах для прокорма, мы легко различали цвета их корысти, жестко отворачивались от их «малой родины» и научились видеть мир неделимым, многоцветным и обещанным свыше.

Чуть позже Александр Исаевич обратится в письме к вождям Советского Союза с тупиковым вопросом: «Если растают арктические льды и хлынут на сушу, что станет с вашей классовой борьбой?!» Так легко и ненатужно «вермонтский затворник» предрек кончину большевиков, только роль стаявших айсбергов выпала ему самому. Он не просто вернулся в Россию, а сошел белой глыбой с востока до Москвы. Иное дело, что глыба, заряженная энергией «Архипела Гулаг» и «Красного колеса», продолжала по инерции нерастраченных сил бодаться, подобно «теленку с дубом» с новыми врагами России, творя их образы по давно использованным образцам. Энергия борьбы вошла в разлад с энергией слова. Нам как бы предлагали читать «повесть о том, как поссорился Александр Исаевич с Иваном Денисовичем...»

Мы явно не успели прочитать сочинения А.И.Солженицына глубоко и полно, его проповеднический язык тяжел нашему динамичному сознанию, а исследовательская дотошность «Красного колеса» кажется избыточной...Как бы не так!

Но всего вероятней, что его прививка опять сработает и мы поймем, что великие прозрения куда выше заблуждений, что только пока кажутся нам значительными.





«В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, кроют, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их все еще идет к нам, все еще сияет нам.»— это написал Виктор Петрович Астафьев.

Насколько пророчески слова его повести «Звездопад» решать уже нам над его книгой, в которой сроднились две судьбы: его самого, писателя и солдата, и Геннадия Сапронова, его издателя последних лет. Родство это было реальным, как свет тех звезд: «Петрович», как говорил Гена, был его духовным отцом, своей дружбой наполнив его безотцовщину.

Геннадий, судя по всему, был для Виктора Петровича отрадой и утешением последних, не простых по составу жизни, 20 лет. А порой мне думается, что близкое присутствие Гены подогревало писательский пыл «Петровича»,— «Пролетный гусь», известно уже, начинался не без участия «издателя Сапронова»...

При всем художественном величии автор «Царь-рыбы», «Последнего поклона» и «Затесей» был человеком по-мужицки ярким и строптивым, как всякий солдат жестокой войны, храня в душе нечеловеческую победу, оставался смелым, добрым и неукротимым. Геннадий был безоглядно отважным в пору редактирования «Молодежки», высоко ставил цену дружбе, легко пускался в самые непредсказуемые предприятия.

Виктор Петрович, прожив военные годы, как настоящий воин, рядом со смертью, стал настоящим писателем в русской традиции, для которого высшей ценностью оставалась обыденная жизнь, а литература не выше ее; потому пером сочинителя властвуют законы жизни, как Божественные, так и самые низкие.

В 2009 году Геннадия Константиновича Сапронова челябинские единороссы «приговорили к расстрелу» за посмертную публикацию писем Виктора Петровича. Что смутило новых особистов? Откровения В.П. Астафьева: «Он (Жуков.) и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ... Не Вы, не я и не армия победили фашизм. А народ наш многострадальный. Это в его крови утопили фашизм, забросали врага трупами». А посему, решили патриоты с Урала, надо немедленно сурово наказать, «вплоть до расстрела...некоего Геннадия Сапронова... осуждающего победу в ВОВ и допускающего всякое очернение советских воинов».

Гена улыбнулся, достал из книги закладку, что была частью книги. На ней рукой Виктора Петровича написано для каждого читателя: «Всем доброго здоровья, мира под крышей и в России, хлеба на столе, Бога в душе.»

Через несколько месяцев Гена не совладал со своим больным сердцем.

Все остальное знают звезды, что светят нам из небытия.

P.S. Старый солдат и прекрасный литератор В.П. Астафьев написал однажды поспешной рукой: «Без поэтов, без музыки, без художников и созидателей земля бы давно оглохла, ослепла, рассыпалась и погибла.»

Не зная, но помня своего отца, топтавшего ту войну и пешком, и ползком, и бегом...на передовой и в штрафбате по минному полю, мне трудно говорить слова перед лицом солдата на этой фотографии, солдата неизвестного... Каждый солдат той войны мне отцом приходится и оттого я немею и теряю речь от одного его взгляда...

Еще и потому я уступаю место на этой странице своему другу Арнольду Харитонову, его письмо живо и точно повествует о немилосердном горе той войны

Они живут рядом с нами всю жизнь. Они всегда жили и живут в другой стране, которая называется Война.

Самые молодые из них старше меня всего на каких-нибудь десять лет. Но они неизмеримо старше – на целую войну. Значит, между нами – вечность.

Я помню, как они возвращались. В семью приходил праздник. Садись за столы, пили, пели... А фронтовик сидел между своими счастливый, в чистой рубашке, с блестящими глазами, пьяный не столько от вина, сколько от того, что он выжил. Уцелел. Пережил это страшное время. Один из тысяч.

Помню, как к моему дружку-якуту приехал дядя-фронтовик. Он, наверное, был совсем молодым, этот красивый черноголовый офицер с раскосыми глазами. На кителе блестели ордена и медали. Он много смеялся – блестели белые зубы. Когда же снял китель – обе руки заблестели от запястий до локтей: они были сплошь покрыты часами. Для меня, девятилетнего, это было веселое зрелище – он снимал их с рук, как маленьких зверьков, и раздавал направо и налево. Может быть, ради этого момента он их и набрал. Но и после раздачи на столе осталась внушительная сверкающая и тикающая горка.

Набивать карманы часами на войне – плохо? Не знаю. Не мне судить. В той стране была другая мораль.

Было еще такое страшное слово – «инвалиды». Даже в нашем маленьком северном городке их было много. «По Ярославской не ходи – там инвалиды», - говорила мне мама, но я все равно шел именно по этой самой Ярославской. Там была какая-то столовая или пивнушка, где они собирались – кто без руки, кто без ноги, иной вообще обрубок на тележке с колесиками. Они пили водку, громко разговаривали, пели, а потом начинали драться – почти каждый день. Дрались с криками, со стонами, со слезами, били друг друга кулаками, протезами и всем, что попадалось под руку. Милиция их разнимала и куда-то увозила.

Я только потом, много позже с ужасом осознал, что часть каждого из этих людей где-то уже похоронена, зарыта в землю. Может быть, они никак не могли смириться с тем, что их руки, ноги лежат в чужой земле, а им уже никогда не побежать



босиком по росной траве, не ударить по тугому мячу, не надеть хромовый сапожок, сдвинув его книзу лихой гармошкой.

Как это должно быть страшно – жить человеку, часть которого уже упокоилась в земле! Может быть, во сне она приходит к инвалиду – его крепкая, молодая нога, которая покоится где-то у Одера или Шпрее... Так к нам приходят навсегда ушедшие друзья и близкие.

Однажды я ночевал в бамовской заежке, где в одной комнате, кроме меня, спало еще человек десять. Приехал я поздно, соседей рассмотреть не успел и сразу упал спать. Под утро же был разбужен криком, который раздался откуда-то из угла: «Впе-е-ред! В атаку!» Их другого угла разнеслось зычное «У-р-ра!». Два пожилых человека разом вскочили и кинулись бежать неведомо куда. Потом вдруг остановились, посмотрели вокруг дикими глазами и... поникшие, побрели обратно. Какой-то молодой здоровяк оторвал от подушки тяжелую голову, пробурчал недовольно: «Че, отцы, все воюете?»

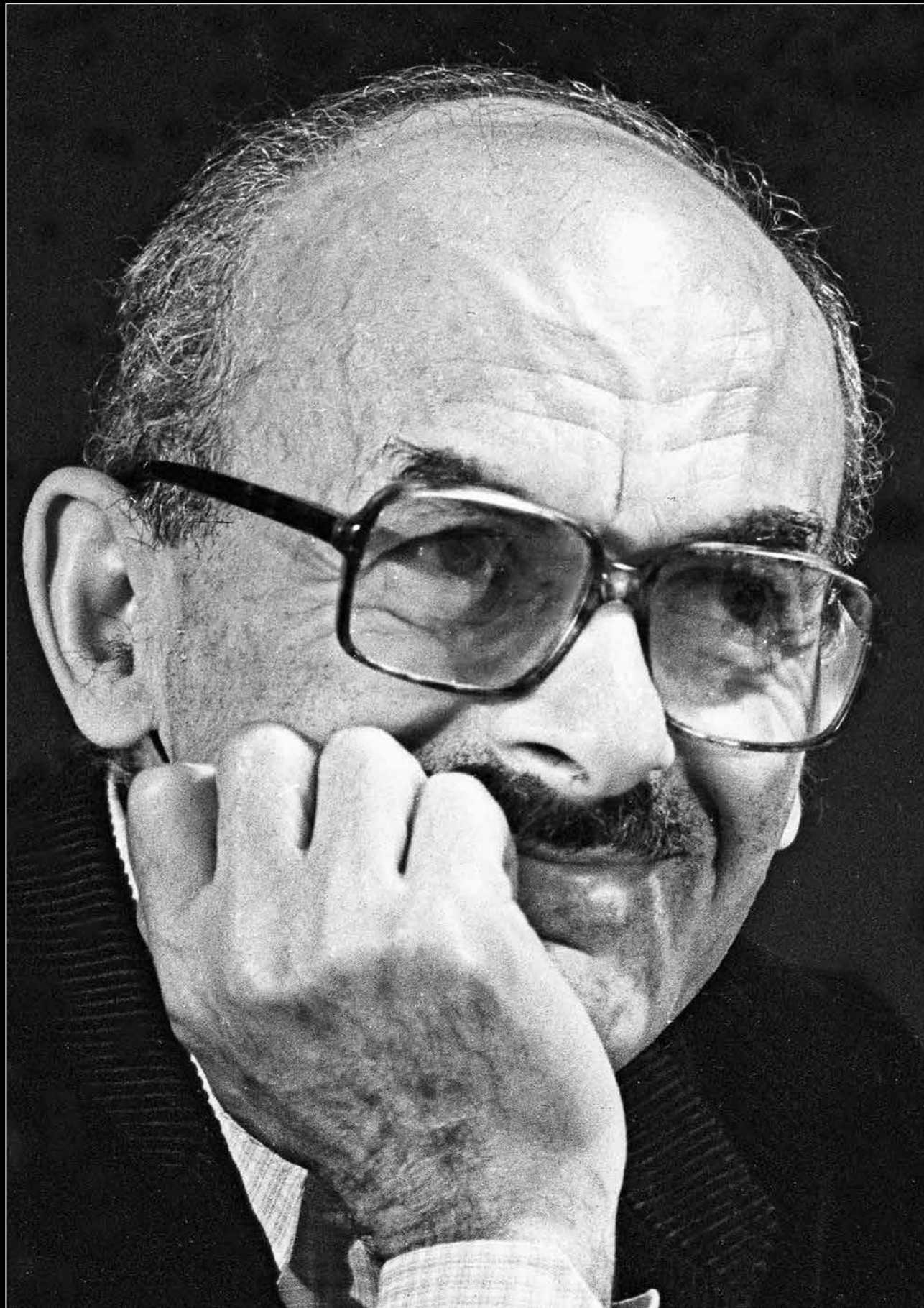
Солдаты сели на одну койку, закурили. «Ты на каком фронте был?» – услышал я, засыпая... Парень был прав, сам того не понимая – они все воюют. И будут воевать, пока живы.

«Мы за ценой не постоим!» - поется в песне, написанной мудрым фронтовиком. И не стояли... Вспоминаю свою единственную встречу с генералом Белобородовым. Мы говорили с Афанасием Павлантьевичем долго, несколько часов. Генералу шел девятый десяток. Время подумать о душе... Он вспоминал горькие часы и минуты войны... Как гнал своих солдат в студеную воду декабрьской Истры, потому что не мог иначе – такой был приказ, а приказы не обсуждаются... Как брали города – не всегда уменьем, часто и числом... Мука мученическая отражалась на лице старого солдата, который видел в жизни такое, чего простому смертному видеть – не дай Бог. «Много, ой, много народу отправил я на смерть, - говорил он горько, - можно было бы меньше». Наверное, можно было... Но опять же – не нам его судить.

Это они выпили до дна горькую чашу победы, это их радость и их неизбежное горе... Это с ними беседуют по ночам души павших друзей.

Они уходят. Их – все меньше. Может быть, и там, в иных мирах, они вскакивают с криком «Вперед, в атаку!» и вспоминают кровавые бои. Но, может быть, хотя бы там им дарован покой. Они его заслужили.





Вдруг посреди шестидесятых, когда страна, засевая себя кукурузой и закрывая уцелевшие церкви, распевала марши коммунистических бригад, возник этот голос, голос одинокого скомороха, голос непривычного имени: Окуджава... С первых магнитофонных лент в сто сорок какой-то затертой копии этот голос наколдовал миф, сказку, причуду: то о Ленке Королеве, то про синий троллейбус или как «из окон курочкой запахло жареной...».

Оказалось, что все мы так ждали этот голос, что поначалу растерялись его приходу.

Народ, не ведая себя, уже устал поднимать целину и бороться за мир, но его снова методично допрашивали: «Хотят ли русские войны?! Тут и Праздник Победы упразднили, а народ не шелохнулся... Пустой тишиной расцветал май, фронтовики молча наполняли стаканы и в минуту молчания пришел узнаваемый голос и пропел несказанную боль...

« Вы слышите грохочут сапоги
И птицы ошалелые летят
И женщины глядят из-под руки,
В затылки наши бритые глядят».

От этой песни умолкли оркестры,— только одинокий человеческий голос, затерянный в убийственном времени способен был спеть с памятью в унисон.

Последние строки песни были жесткими, как землетрясение:

«А мы рукой на прошлое вранье,
А мы с надеждой в завтрашний рассвет...
А по полям жиреет воронье,
А по пятам война грохочет вслед!»

Эти строки, это землетрясение обрушивалось на поколение новой бедой. Неужто — думалось тогда — война продолжает неотступно ползти и за нашими детьми, а нам ее влачить на своих плечах, как родовую печать...

Тем временем Праздник Победы вернули в 1965 году. И по всей стране, в каждом городе взгромоздились на пьедесталы танки, а во всех газетах подле танков играли дети... Те же танки стояли и крутили башнями на улицах Праги.

А воронье, черное и настоящее, жирело над Кремлем,—двести лет власть не могла их ничем вытравить. Ежеутренне они слетались к ресторанным обедкам во двореке гостиницы «Россия»,— однажды я всю неделю просыпался от их истошных криков.

Скорее всего, они орали про Прагу, Афган, Сумгаит, Чечню... Все было в том крике вместе с нашим хищным патриотизмом.

Но по той же самой стране уже мчался синий троллейбус и граждане тихонько подпевали волшебные строки Орфея.

«Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаянье
Я в синий троллейбус сажусь на ходу
В последний, случайный.»

Сколько душ прозрело, утешилось, возросло!

Ах, Булат Шалвович...

Он приехал в Иркутск в светлый праздник начала лета. Стояли Пушкинские дни, город тогда ежегодно волею Марка Сергеева праздновал День Рождения Поэта, в городе звучали стихи, они слагались в букет, который каждый участник праздника нес своему Пушкину.

В доме Трубецких зажгли свечи. Пламя трепетало в размере стиха, что читал Булат Шалвович из еще неопубликованного. Сегодня не удалось отыскать его в изданных книгах. Я нашел его в своей памяти.

«Не представляю Пушкина без падающего снега,
Бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.
Когда снежинки белые посыпятся с неба
Мне кажется, бронза тихо звенит.

Звени-звени бронза,— вот так и согреемся,
Падайте снежинки на плечи ему.
У тех все утечи, у этих — все зрелища,
А Александра Сергеевича уж ждут в том дому!

И когда на славу устав надеяться
Мы к благополучию ползем нелегко,
Там гулять готовятся господа гвардейцы
И к столу скликает «Вдова Клико»...

И напропалую перед всем светом,
Как перед любовью всегда правы,
.....ведь дело не в этом,-
Со своим веком можно ль на вы?!

По Страстной площади плещут страсти,
Трамвайные жаворонки — смех и грех!
Да не суетитесь вы,— не в этом счастье...
Александр Сергеевич помнит про всех!»



На Мойке,12 – тишина остановленных часов: 2 часа 45 минут пополудни...

Здесь приютили мою фотокамеру и позволили снимать последние дни перед открытием музея Поэта накануне 150-летия его дуэли и смерти. Сотрудники музея выстраивали новую экспозицию, а я пытался успеть за их хлопотами и муками. Они вслушивались в стены, вглядывались в тени, промеряли безмолвие комнат, задерживаясь у окон...

Вот окно гостиной, оно выходит на Мойку. Чуть направо и напротив – праздничный фасад дома, в котором некогда жил Дельвиг, дорогой лицейский друг. Это повлияло на выбор жилища в Петербурге, когда Александр Сергеевич в 1831 году приехал сюда с молодой женой.

А взглянуть из окна налево, так увидится помпезное парадное.

Тут гнездо А.Х. Бенкендорфа, третье отделение Тайной канцелярии.

Все вместе – знак судьбы.

Здесь письменный стол в кабинете поэта вырастает из книжной стены, как мощная ветвь раскидистого дерева,— именно к книгам были обращены Его последние слова: «Прощайте, друзья...»

Под этой же крышей, через комнату по анфиладе приютились сестры Гончаровы, коротая дни в вышивании кошельков...

В детской комнате – безоблачный свет, а соседний чулан под потолок переполнен некупленным тиражом «Современника»,— «Капитанскую дочку» никто не пожелал читать...

После Черной речки, оплакав мужа, Наталья Николаевна уехала с детьми прочь, а Зинаида Волконская, хозяйка дома, сдала его в аренду соседям, что левее и напротив. Тайная канцелярия обживется здесь и через десяток лет выкупит дом, но придет час другой власти – передаст его ВЧК.

Представьте теперь, что таит в себе это пространство и что прячут эти стены?! Уверяют, что когда-то появятся сканеры и они будут считывать многолетнюю информацию с пространства и стен. Что тогда?!

Но и тогда ничем не вывести с тела России ее родимые пятна: число 37 и имя горя – Черная Речка.

Накануне открытия тротуар перед музеем превратился в парковку черных «Волг» с партийными номерами. В час открытия милиция вытолкала народ на другой берег Мойки, – «народ безмолвствовал». По музейным комнатам сновали люди в штатском, прямые наследники недвижимости: «стоять здесь, снимать отсюда, не заходить сюда». Появившиеся вскоре партийные бонзы сурово спросили «Почему у вас часы стоят?» Им ответили, что стоят они уже 150 лет и это теперь надолго...

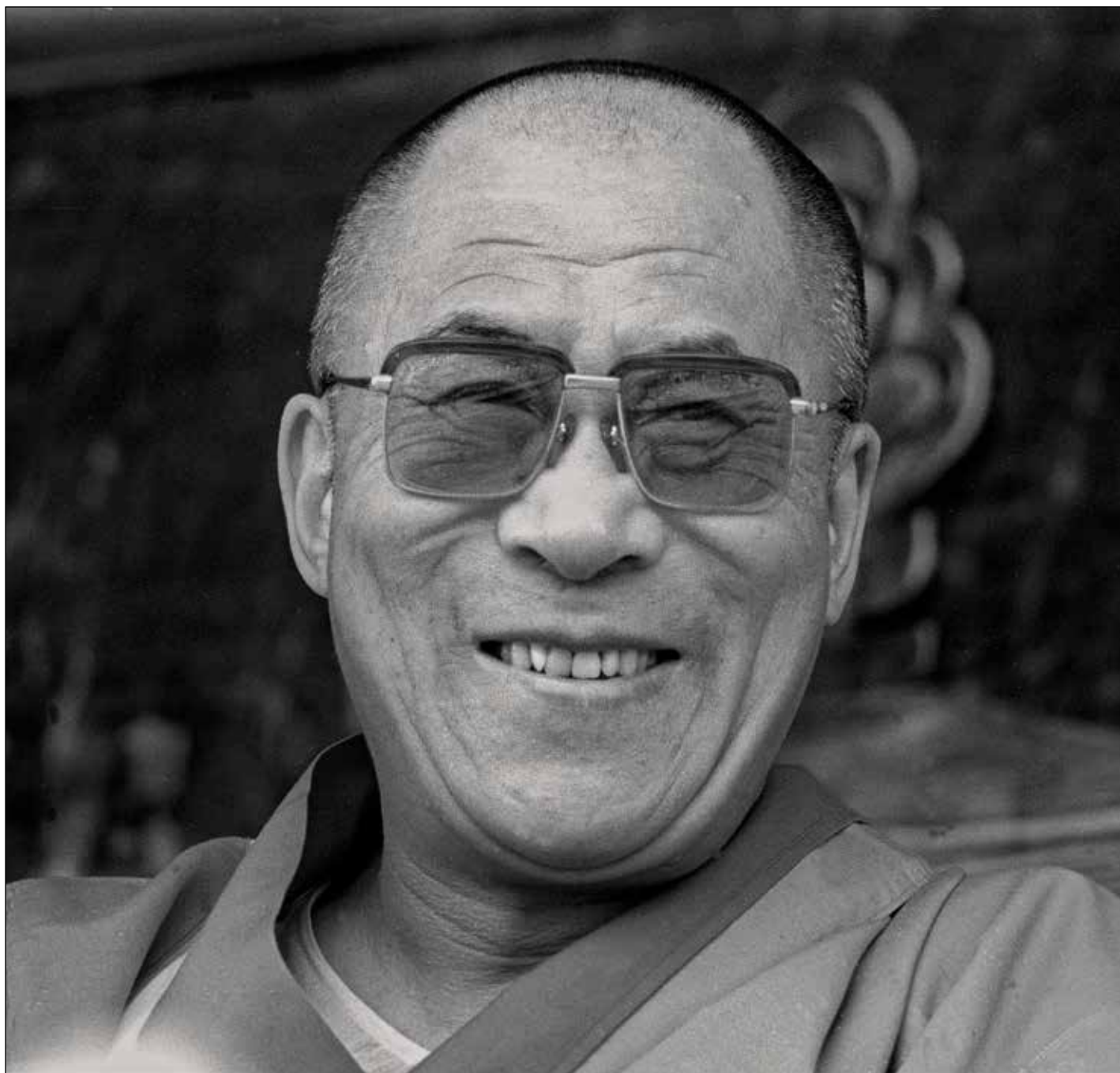
Мне было тесно в увиденном и так больно, что уже не хотелось вопрошать: «Да-леко ли отсюда до Черной Речки?!»

Она – здесь и сейчас! На Мойке, в Питере, в Москве, в России...Всюду, где чтут, но не читают, помнят до кощунства, цитируют, но глумливо, а если и путешествуют в Арзрум, то на Т-54.

Останемся с надеждой, что кто-нибудь рядом однажды напомним:

«Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,—
Мы рождены для вдохновения,
Для звуков сладких и молитв.»





Светлейший летний день августа 1990 года живет в моей памяти совсем особенной жизнью. Я впервые почувствовал и понял, что можно довериться своим глазам абсолютно, – впечатления не только верны, но истинны, полны и неподдельны. Они не ждали подтверждения, логики, текста, не искали доказательств, а складывались в живую самодостаточность.

Из самолетного проема вылетела оранжево-бордовая птица, через миг оказалась взлетевшей улыбкой, обнявшей всех, кто ее видел и парившей чуть поверх. И лица встречавших преобразились чудом света этой улыбки. Даже по-буддистски сосредоточенные секьюрити Далай-ламы приветливо расцвели глазами, а партчиновники Бурятии блаженно расслабились, полагая, что теперь с кармой будет все в порядке...

Слегка поправив одеяние, он почему-то смутился, засияв новым светом, и пошел к автомобилю.

Далай-лама XIV, его имя Нгагвэнг Ловзэнг Тэнцзин Гьямцхо родился 6 июля 1935 года в тибетской деревне на берегу озера Кукунар в крестьянской семье, где было 14 детей. Тем временем тибетские ламы уже не первый год вели поиски переродившегося прошлого Далай-ламы, что почил в 1933 году. Незадолго перед кончиной тот побывал в деревне у озера и, восхитившись его красотой, обещал вернуться сюда. Вспомнив его слова, ламы приступили к испытаниям младенцев деревни, родившихся после 1933 года. Трехлетний мальчик легко узнал личные вещи бывшего Далай-ламы, назвал имена его близких, после чего был восхищенно признан воплощением Ботхисатвы Сострадания, наречен нынешним именем и с почетом препровожден в Лхасу. Ему предстояло 13 лет изучать в монастыре таинства буддистской философии и мистики. К шестнадцати годам по признанию учителей он уже был исполнен мудрости и возведен на «львиный престол».

Именно в это время правительство Мао-Дзедуна, уже наполнив Тибет своими войсками, пыталось подчинить его, как свою территорию. Юный Далай-лама, блестяще проведя переговоры, сохранил автономию своей земли, уступив только присутствие в ней китайской армии. Однако в 1959 году в Лхасе вспыхнуло восстание против китайской экспансии, было кроваво подавлено, монастыри опустошены, а Далай-лама с уцелевшими монахами бежали в Индию, где образовали правительство в изгнании.

Оставаясь духовным и государственным лидером Тибета, Далай-лама посвящает все свое земное время совершенствованию буддистского учения в духе милосердия, сострадания и любви, не ограничиваясь религиозной практикой.

Его идея земного существования по принципу «зоны мира», предполагающему исчезновение любого оружия сначала в Тибете а потом и по всей Земле было встречено Нобелевской премией мира в 1989 году. Но мир наш на перемены не горазд. Вслед за ним получил ту же премию М.С. Горбачев. Но оба лауреата так до сих пор и не встретились, того пуще: нынче Далай-лама оказался нежеланной персоной для посещения России. Загадки власти складываются на востоке...

Меж тем Далай-лама в 2011 году отказался возглавлять правительство Тибета, считая смыслом бытия оздоровление людского существования и духовное восстановление мира. Более того, из его последних выступлений явствует, что институт Далай-лам в Тибете обречен на окончание, потому что, во-первых произошло по воле Китая этническое перераспределение населения Тибета, во-вторых насаждается система выборов Далай-лам по жребью, как в партийной номенклатуре...

Буддистское учение не приемлет ни первое, ни второе, а при полном отказе от насилия и с проповедью устройства мира на сострадании ситуация необратима.

Мир по прежнему не готов к молитве о мире.

Только та молитва состоялась в прекрасной августовской яви 1990 года, когда в праздник 250-летия обретения буддизма народом Бурятии в Улан-Удэ явился Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо, Далай-лама XIV. Город был переполнен паломниками со всего света, фантастическое по красоте сочетание бордового с оранжевым расцветило город праздником. Тысячи горожан собрались на трибунах стадиона для общей молитвы с Далай-ламой, тысячи паломников заполнили поле.

Огромная и еле слышная молитва высвечивала лица и полнила души, куполом выстраивала новое пространство жизни...

Чтоб не смущать своим присутствием я снимал издали мощными телеобъективами и после каждого срабатывания камеры переводил дух, понимая, что так светлы могут быть только лица моих друзей.

А Далай-лама в почетном уединении на стадионе выглядел вполне обычным человеком, только приветливым, открытым, чуть смущенным помпезностью азиатского праздника, и в досаде вскакивающим с кресла в благословенном желании приблизиться или хотя дотянуться улыбкой. Это было заметно отовсюду, – собравшиеся в молитве люди, думал я, прощаются сейчас со вчерашними тяготами и заботами угрюмого существования в «совке», дурной неразберихой и бестолковщиной власти, собственной ежедневной бессмысленностью...

Прощаются и забывают, как принято забывать вчерашнее ненастье.



«Дай вышагать стихотворенье,
Дай выстрадать его, потом,
Как потрясенное растение,
Я буду шелестеть листом...»

Давиду Самойлову в Пярну писалось и жилось легко и празднично, в согласии с ветром, воздухом, вязами на берегу, свежей зимой, неторопливыми рассветами...

Приезжающего погостить меня определяли в белую гостевую комнату и на ночь чтоб не горевал, Давид приносил стопку книг из «тамиздата».

А неспешным утром мы отправлялись шагать по берегу залива. Надевая хромовые офицерские сапоги, Давид нахваливал свою обувь, словно читал заклинание будущей прогулке: как хорошо ступне, какая уверенная поступь и шаг размашистый... Потом следовало напоминание.

– Должен вам сообщить, Саша, что до ближайшего эйнелауда нам предстоит ровно 423 шага...

На что я вопрошал: – А что получится, если переводить их в строфы?

– Ну, тут уж как шагать...

Исполнив ритуал выхода на прогулку под светлую улыбку Галины Ивановны, мы отправлялись к берегу, где белый снег, белый воздух, море в опушке белого тумана и шепот посеребрянной волны в белейшей тишине... «Свежий берег Вселенной.» Ни прежде, ни после, – никогда я не видел такого белого и прозрачного тумана, нежно размывающего позднюю готику дубовой рощи на берегу. Мы широко разбрелись, предавшись зрелищу, но не теряя друг друга из виду, когда каждый нашел свою дорогу в соборной колоннаде деревьев. Малорослый Давид в высоченных сапогах, словно гном в ботфортах, вышагивал ритмично и упруго:

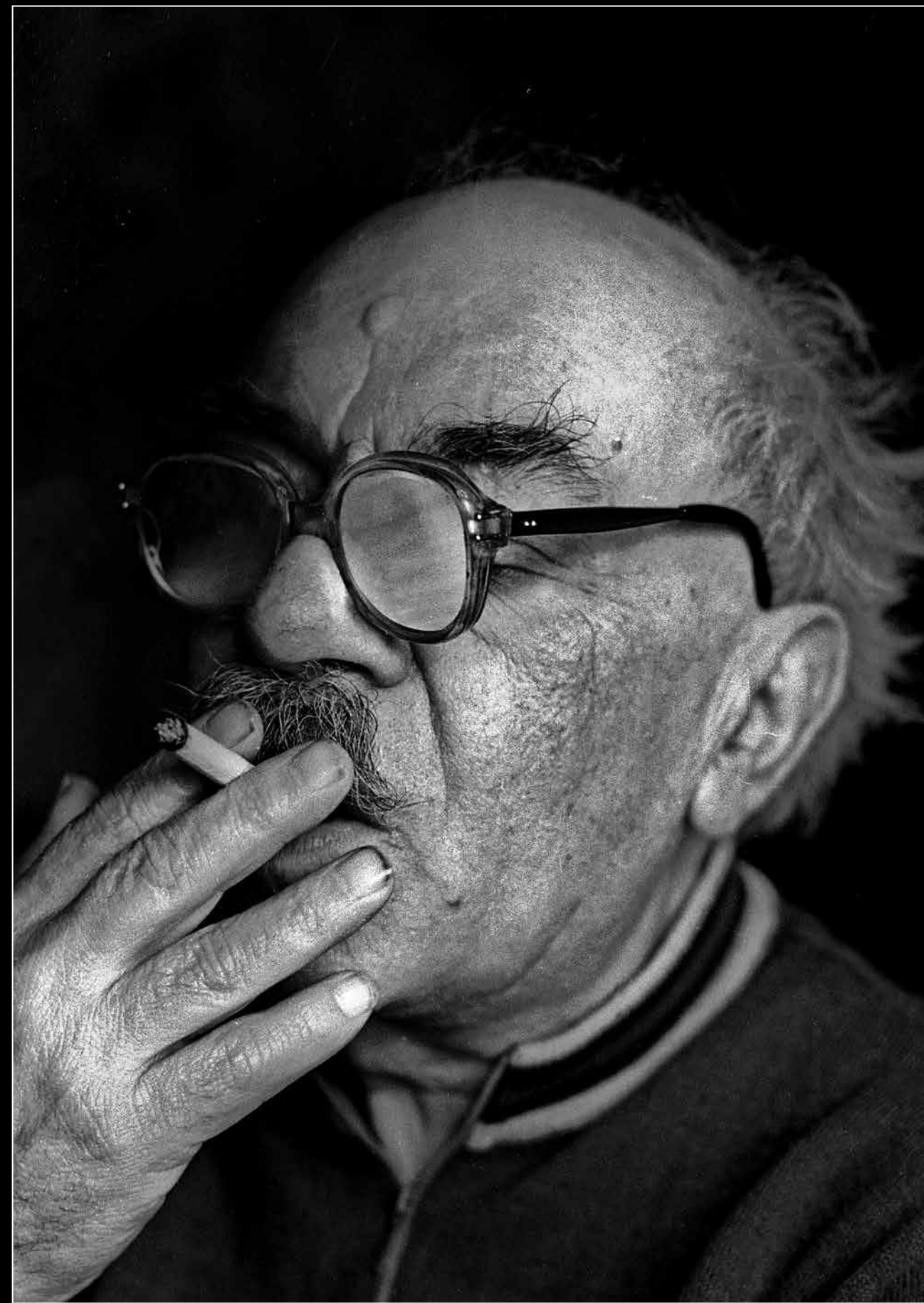
«Когда замрут на зиму
Растения в садах,
То невообразимо,
Что обратишься в прах...
Ведь можно жить при снеге,
При холоде зимы,–
Как голые побеги,
Лишь замираем мы...»

Наши дороги сошлись возле эйнелауда, одного из маленьких кафе на берегу. «Тэрэ! – первой воскликнула хозяйка и без расспросов поставила на наш столик рюмки с коньяком. Мы тоже были бесцеремонны и опросили повторить... В этот момент, вторя лирическому сюжету для единственного героя, в кафе вошла девушка, присела за соседний столик, и Давид обрушил на нее все свое обаяние. Зардевшись любопытством, девушка спросила:– Вы кто по профессии?

– Водопроводчик, – ответил поэт, – где прорвет туда и зовут!

«И долго будет сниться –

Не годы, а века –



Морозная ресница и юная щека.»

– До следующего эйнелауда, Саша, нам остается всего 372 шага, сделаем их с оглядкой на пейзаж?!

Помня, что прогулка считается успешной, если пройдены все три эйнелауда, я поспешил присоединиться. И мы шагаем...

Военные сапоги поэта, «лучшая обувь мужчин», отсчитывают шаги, строфы, годы, протаптывая «сороковые, роковые...». В 1943 пулеметчик Самойлов попал в окопы под Тихвином, в первом же бою раненый тяжело был спасен Семеном Андреевичем Косовым, алтайским крестьянином, с которым делил один окоп...

«Долго будут в памяти слова
Цвета орудийного ствола.
Долго будут сосны над травой
Окисью синеть пороховой.»

Залечив раны, он опять на фронте, но уже командиром взвода разведки и долгий путь от Вязьмы до Берлина меряют его сапоги...

Я спросил однажды, одолев неловкость: – Как это было?

«А было так... Утром выстроили роту. Вывели перед строем перепуганного мальчишку, который только и озирался вокруг, ничего не понимая. Комиссар зачитал приказ, хлопнули выстрелы, мальчик жалко рухнул. Что-то оборвалось внутри нас, мы расходились тоже озираясь по сторонам и тоже ничего не понимая... Было страшно.

«Как это было, как совпало:
Война, беда, мечта и юность?!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось.»

Присмирив под тяжестью разговора, мы продолжали наш путь. Я рассказывал о фронтовой дороге моего отца, о штрафбате по пустяку, атаках через минное поле... Как знать, не пересеклись ли их судьбы-дороги, как пересеклись в свое время наши?! Не удивительно ли – Иркутск и Пярну, фотограф и поэт? Добрый десяток лет мы перебрасывались письмами через всю страну, попутной дорогой я наезжал в гости, новые книжки Давида выходили с портретами моей съемки: «...две Ваших фотографии взяли для моей новой книги. Жалко было отдавать, но чем не пожертвуешь ради славы...» Давид был по-отечески (моей безотцовщине этого так не хватало) внимателен ко мне, я же внимал его урокам эпистолярной культуры и искусству беседы совершенно доверчиво и по-школярски...

Засидевшись во втором эйнелауде, мой спутник забеспокоился: «Нам предстоит еще 283 шага, но мы повернем вспять – мне через час назначена кардиограмма в больнице, простите великодушно...» Тут то и разгулялось мое фотографическое воображение: Поэт–Сердце–кардиограмма...вдруг что-то снимется ненароком...и устыдился своих мыслей,– угодно ли такое вторжение?! Потом вспомнил урок Давида: «упущенных побед немало» и укорил себя, как выскочку.

Несколькими часами позже я снимал в его кабинете. Давид достал пластинку на виниле, признался в «порочной слабости к Шуберту», включил 8 симфонию и открылось вдруг его знание партитуры наизусть. Отрешившись, он дирижировал и пропевал симфонию, размахивая в такт незажженной сигаретой, успевая при этом комментировать, вопрошать, восхищаться и ожидать моего согласия. Моя камера согласно щелкала затвором.

Кардиограмма оказалась благополучной, смущал Поэта всего то пустяк: «Один мой знакомый графоман живет в соседях. К исходу дня он не ладит со своей бабой, и, расвирипев, совершает ко мне набег читать написанное. Думаю, вдвоем мы его сможем успокоить. Вообще то графоман – это природное явление совсем не хуже плохой погоды... Немая природа стремится высказаться любым способом и без разбора, а графоман тут как тут, сторожит нечаянное слово... Может, что и прорвется... А вот поэт всегда избран судьбой, он один из многих слышит колокола. Мы сможем отличить звон от пустозвона?!»

Тишина в кабинете. Мы всматриваемся в эту тишину, словно читаем в ней повороты судьбы, – «как это было, как совпало?!». Тишайший стих «Пярнусских элегий» просачивается сквозь прозрачный туман и сливается с легким шумом волны.

Как хороша была бы фотокнига, – подумалось мне, – где бы эти стихи, соседствуя с портретами Поэта в пространстве залива, так же невесомо заполняли страницу... И я тут же открыл увиденное. В ответ была долгая пауза, только спящая в зиме яблоня в широком проеме окна чуть качнулась от севшей на нее птицы...

Немного позже мне вдогонку полетит его письмо: «А Ваша идея насчет «Пярнусских элегий» мне весьма по душе. Может получится интересный художественный альбом... Лето у нас было прекрасное. Сейчас хорошая осень. Все же какая-то компенсация свыше за все наши неустройства...»

Разумеется, речь шла о душевных неустройствах, которые не оставляют, донимают, докучают. Лишь его дом на улице Тооминга был устроен и распахнут для гостей полной мерой и переговорено здесь столько «о Шиллере, о славе, о любви», что все стены переполнены стихами. Под стать лучшим домам здесь всеми гостями писался альбом «В кругу себя» и вписаны в него такие перлы, что останутся в веках. Вот эпиграмма: «Не мог он ямба от еврея, как мы ни бились, отличить (о Ст Куняеве)» или : «Просыпаюсь в шесть утра вне себя от счастья – нет резинки, нет трусов, нет Советской власти.»

Душевные же неустройства оборачивались не тяготой, а простой и нескончаемой заботой о части речи, как существенной части мира: «В каждое время есть свой главный тип. В одно – правдолюбцы, в другое – правдознатцы, в третье – праведники. Нам сейчас нужнее правдознатцы. Но скоро понадобятся праведники.» Так бесхитростное наитье поэта выстраивается конструкцией мира, в которой возрастные метаморфозы человека равны вызовам времени. В младенчестве мы – правдолюбцы, в зрелости – правдознатцы, наша старость движется к праведности, которая обнажает память и в осенней тишине заставляет понять, что забытое прошлое

прорастет сорняками в завтрашнем саду.
А время уходит быстро, за ним не поспевает шаг.
Прощаемся в тишине присыпанного снегом Пярну. Я уезжаю к поезду.

Пустой перрон. Голая платформа в полкилометра. Стыдливая весенняя даль
развалена лезвием рельсов. Тихая пустота.

Имя станции распалось в памяти и скомкалось.

Вихрем влетел поезд, замер на пару минут, так и не дождавшись чтобы вышел
кто-то и, приехав, остался здесь,— никто даже не выглянул в окно вагонное... Я
вскочил на подножку тамбура, не веря своим ногам...

И застучали стыки моего дальнего пути.

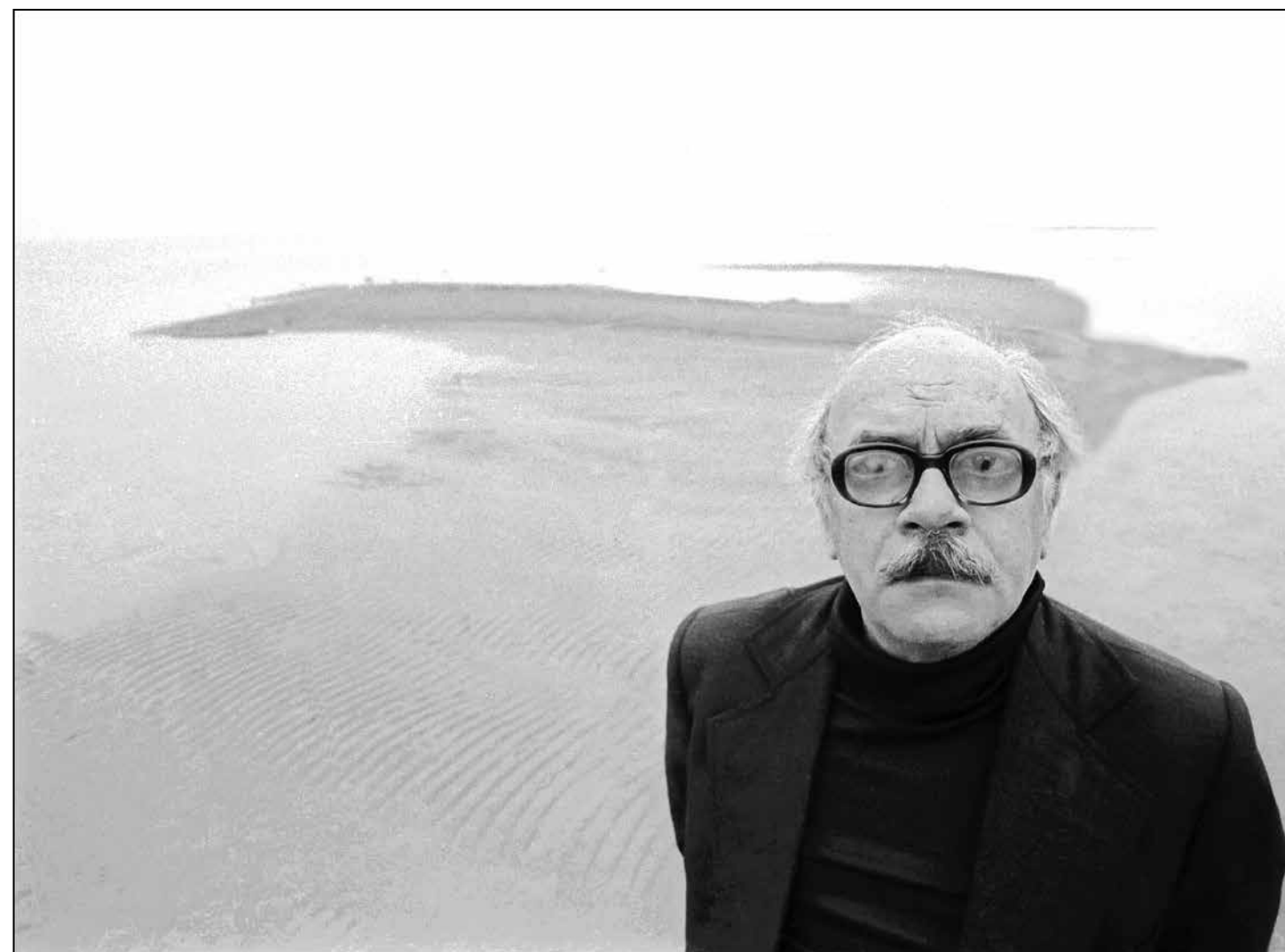
Попрощавшись с Поэтом, я уезжал в Неминуемость, рельсы уносили меня из
времени и эпохи, меченой глубоким знаковым кодом «сороковые... роковые»,
рельсы ложились поверх памяти «...просторно,холодно,высоко...», а их дробный
перестук не рифмовался с ударами сердца.

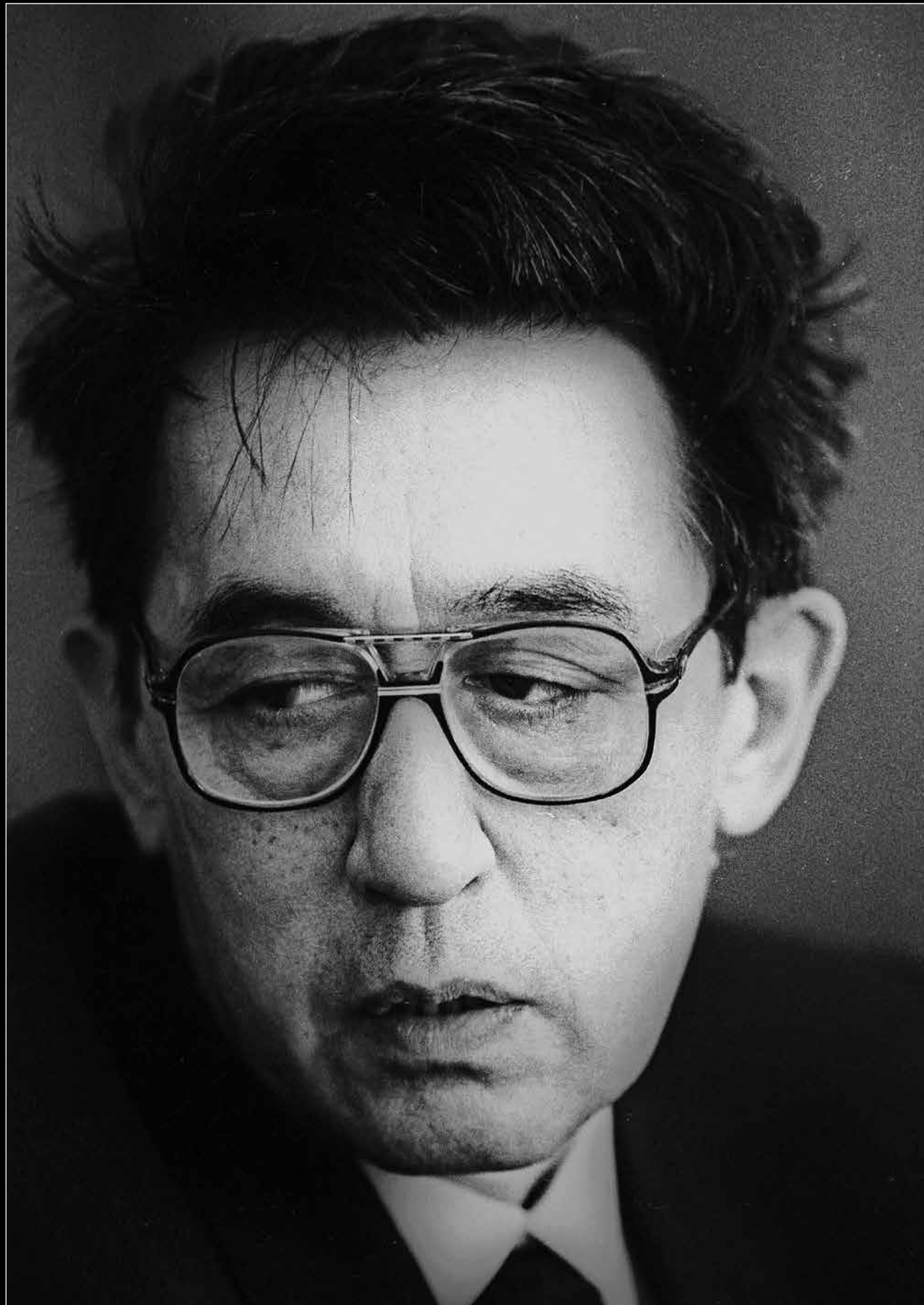
Нарождался 1991. Число веры. Код власти. Тень Преображенья и зачатые новой
Смуты. Танки пятились в августе, чтоб вернуться в октябре.

Я уезжал из Пярну, предчувствуя страшное знание, что в Никуда не вернуться.
Всего лишь доехав до дому, опростав почтовый ящик от газет и развернув первую
их них, увидел портрет Поэта в траурном обрамлении. Тот портрет был моей съем-
ки десятилетней давности,— вот и стодился! Среди газет затерялась опоздалая от-
крытка из Пярну: «Дорогой Саша! С Новым Годом, с Рождеством! Все пожелания!
Приезжайте. Самойловы.»

«Да, мне повезло в этом мире
Прийти и обняться с людьми
И быть тамадою на пире
Ума, благородства, любви.

А злобы и хитросплетений
Почти что не замечать.
И только высоких мгновений
На жизни увидеть печать.»





Юрий Абрамович Ножигов никогда не был человеком власти, хотя провел во власти не пустые годы. Масштаб его мысли и точная безоглядность поступков никак не вмещались в номенклатурное пространство советской, а потом и постсоветской власти. Помните, как он отстаивал независимость «Иркутскэнерго» от уже коррумпированной столичной бюрократии?! Вспомните, как 19 августа 1991 он вышел к встревоженным гражданам и объявил, что власть ГКЧП в Иркутской области не состоится, пока есть он, законно избранный губернатор... А недавно стало известно его письмо тех дней, адресованное сибирским губернаторам, в котором Юрий Абрамович предлагает поддержать бойкот ГКЧП вплоть до перекрытия Транссиба. Еще не понятны были исход и результаты путча, а иркутский губернатор, первый в стране народом избранный, вдруг пошел на амбразуру, почитая это за долг перед народом.

Будучи избранным, он среди избранных себя не видел: охраной и мигалками не пользовался, торча порой в городских пробках за рулем своей старой белой «Нивы», – до конца дней он не пожелал сменить машину, по утрам приезжал в серый дом и парковался на общей стоянке, а потом видели его вихрастый силуэт в парадном, где он приветствовал охрану и взбегал к себе на этаж... Отдельный, специальный вход только для губернатора построят после него.

А номенклатура существовала рядом, выжидала, пользовалась, подставляла при каждом случае, пока однажды взъяренный Ельцин не отстранил Ножигова, а через пару дней с извинениями попросил продолжить работу. Такого «прецедента», как говорят в номенклатурии, в России не случилось. Как не случилось и добровольного оставления власти, – Юрий Абрамович был первым.

Тут и случилась наша нечаянная дружба. Юрий Абрамович оказался сведущим в искусстве человеком. Придя однажды на открытие моей выставки, он произнес речь, извинившись, что по написанному, и открылся всем незаурядным мыслителем. Я привожу ту речь, убрав эпитеты в мой адрес, – боюсь на его фоне выглядеть нескромно.

«И не устаю поражаться богатству и возможностям искусства. Но, придя на выставку, каждый здесь видит свое и совершенно не обязательно это «Свое» совпадает с мыслями автора. Это зависит от объективных факторов: профессии, образования, прочитанного и увиденного, жизненного опыта. Со своим взглядом пришел и я. Я, бывший управляющий трестом Востокэнерго-монтаж, бывший начальник Братскгэсстроя, самого совершенного научно-технического и производственного достижения административной системы, бывший

губернатор...

В мире идет поток глобализации и информатизации. Массовые объемы передвижения информационных, материальных, политических, культурных ресурсов, знаний и технологий создают новое общество – общество сетевое, где региональные и страновые формирования не влияют на процессы, определяющие жизнь его. И наши реформы в России – небольшая часть мирового процесса. Информационная революция приводит к демассификации общества, крушению патриархальности, к смене символов культуры, искусства и других ценностей человечества. Уходят в прошлое исследования Кейнса, Маркса, Дина Белла, Бердяева и многих других. Власти не в состоянии ответить на возникающие проблемы, а общество ищет анализа, чтобы сделать вызов системе. Фактом является то, что информационные и глобальные процессы приводят к накоплению знаний и соответственно ресурсов и капиталов в золотой десятке (10% богатого населения мира) и обеднению другой, подавляющей части человечества. Анализ ведется всеми отраслями социальной и экономической философии, политологии, религии и, безусловно, в искусстве. Здесь я и увидел тебя, Александр. Я рад, что в нашей далекой сырьевой провинции ты принадлежишь России. Я очень надеюсь, что ты не один в стране, опьяненной лесозаготовками, нефтью и счетами в банках. Дерзай, Александр!

Пятница, 15 марта 2002 года
Ножиков Ю.А.

Я был изумлен глубиной понимания мира и механики его внутренних процессов и пожалел, что прежде был в стороне от общения с ним и потому редко вглядывался вглубь явлений.

Однажды он ненадолго приехал ко мне в мастерскую и мы впали в нескончаемый разговор. Он только что пережил пожар в своем доме, но умолчал о том, да и я не спрашивал. Юрий Абрамович увлеченно и с юношеской страстью, озаренный улыбкой, рассказывал о хвойных деревьях, которые разводит в своей усадьбе, о тонкостях ухода за ними, о сборе семян, посеве и уходе за саженцами, о спасении питомцев от гусениц шелкопряда, которых он руками оббирал по несколько ведер с каждого дерева... Я слушал его безмолвно и внимательно, поскольку и сам тогда был одержим садом... А Юрий Абрамович, казалось, уловил мою готовность к откровениям, признался просто и открыто: «Я только сейчас почувствовал себя счастливым, когда потихоньку стал отцом целого леса перед глазами. Лучше этого ощущения мало что есть в жизни... Неужели, я наконец понял свое жизненное призвание?!»

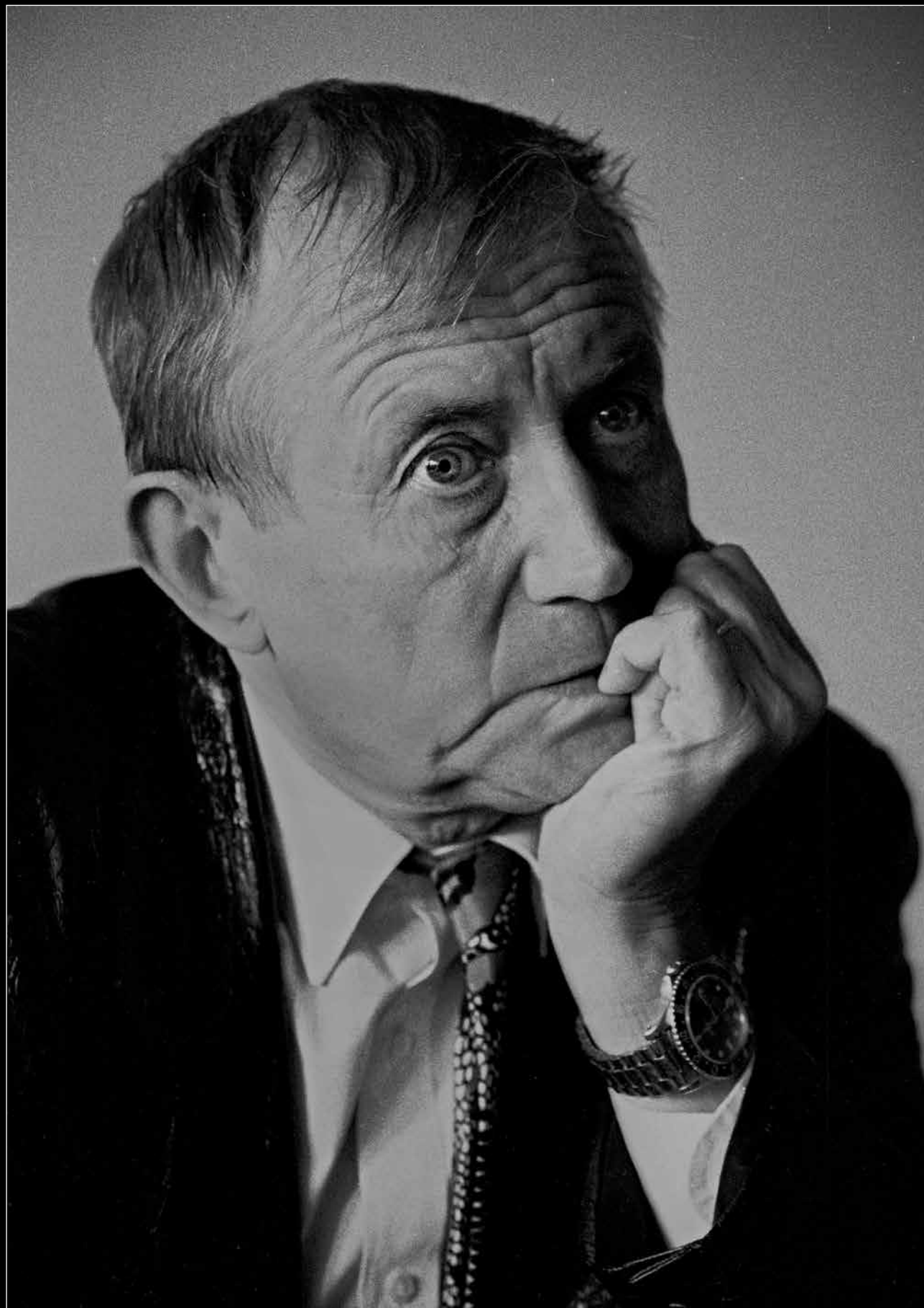
Помолчав, мы распрощались.

Следующая встреча наша опять случилась на моей большой выставке. Я приехал почти за час до открытия и встревоженные служители музея сообщили шепотом, что Ножиков сам приехал. А в экспозиции уже гулял Юрий Абрамович, одетый не партикулярно, а по молодежному, в джинсовый костюм-индиго, да еще и с миниатюрной телекамерой в руках. Он продолжал снимать и на открытии, удивляя всех своим юным обликом и неподражаемо вихрастой головой... Папарацци!!!

Как вскоре оказалось, в его юношеской стати была заключена огромная сила жизни – он спокойно встретил страшную и почти неизлечимую болезнь, испытал на себе тяжелейшее лечение, и добыл себе еще шесть лет жизни наедине с лесом.

Сейчас улица «Губернаторская» в Зеленом, на которой стоит скромный одноэтажный дом Юрия Абрамовича, обросла диковинными для наших мест соснами, они сбегают праздничной цепочкой с горки, где все началось, и украшают улицу такими же вихрастыми кронами. Это манчжурские сосны.

После похорон заговорив с родственниками, я предложил перенести какое-нибудь из его деревьев на могилу и получил такой ответ: «Юра просил, уходя, не трогать его деревья и беречь их...»



Идут белые снега, Евгений Александрович... Надеюсь, навсегда.

Время опять кажет свой нор и на вопрос «Хотят ли русские войны?!» отвечает вторжением в Афган, святоотеческий пафос «Поэт в России больше, чем поэт!» гаснет после нобелевской лекции Иосифа Бродского, а «...ты спрашивала шепотом» уже не соперничает по банальности с «Лолитой»... Время оборачивает поэтические формулы, обращая их в обыденную риторику. А грань переворота не видна вовсе, словно бы ее и нет совсем. Очевидно, время перелицовывает только то слово, которое податливо для оборотней и в начале своем уже червоточит...?

Червячок выедает саму сердцевину слова, как бы оно не было упаковано в рифму, оставляет никчемную плоть в угоду лукавому. Что, собственно и случилось: «Зачем нам ум, совесть и честь, если родная партия есть?!» Или: «Моя фамилия – Россия, а Евтушенко – псевдоним.»

Припоминаю, как некий остролов сказал по известному Вам поводу в 1970: «Поэт на манеже, как в шляпе копейка...» Сказанул и, как всегда, исчез, не пересекаясь с досужими евтушенковедом, что унылой парой в любом месте, ко времени и без, по крепкой памяти воспроизводили рифмованные тексты. Вы, тем временем, выписывали другие тексты, адресуясь к «серому кардиналу» Суслову: «Зная всю Вашу занятость, тем не менее прошу Вас ознакомиться с прилагаемым мною стихотворением 'На красном снегу уссурийском', родившимся в это тревожное для всех советских людей время. Стихотворение это, по-моему, нужно нашим читателям. Обращение к Вам вызвано тем, что в последнее время я встречаю серьезные затруднения в публикации своих стихов, как бы патриотичны они ни были. Прошу оказать Ваше содействие в публикации этого стихотворения на страницах 'Правды' или 'Известий'».

Но и это бы ничего... – «...жизни мышья беготня», как сказал бы Александр Сергеевич, когда б не орден «Знак Почета» после стиха «Танки идут на Прагу», – такие вот коврижки...

Упражнения в стихосложении издавна считается любимой национальной забавой – великий и могучий здесь не знает изъяна: русское слово было единственным окном, которое открывало горизонт свободы и землепашцу, и острожнику:

«Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентья Палыча
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча...»

Или чего стоит: «Огурчики-помидорчики... Сталин Кирова пришил в коридорчике», носившееся по стране в разгуле репрессий... Русский язык словно бы только для этого и сложился на нищих папертях, чтоб сокровенное выпустить на волю.

Вам это яснее моего уже по факту авторства «Строф века», несравненной антологии русской поэзии, как и то, что поэтом не мудрено родиться – надобно и прожить поэтом, тогда поэзия – это судьба.

«Идут белые снега...» как раз про это.



Этой фотографии 33 года. Как говорится, много воды утекло. Время, взыскательный скульптор, убирая все лишнее, формует прежние лица в неузнаваемый облик. И вместо опознания остается уповать на память всемирной паутины, что зовется Википедией. Вот что в ней сохранилось.

Валентин Григорьевич Распутин родился в крестьянской семье в деревне Агаланка. После школы поступил на историко-филологический факультет (Иркутский государственный университет). В студенческие годы он стал внештатным корреспондентом молодежной газеты.

С 1966 г. Распутин — профессиональный литератор. С 1967 г. член Союза писателей СССР.

Первая книга Валентина Распутина «Край возле самого неба» вышла в Иркутске в 1966 году. В 1967 году в Красноярске была издана книга «Человек с этого света». В том же году повесть «Деньги для Марии» была опубликована в иркутском альманахе «Ангара» (№ 4), а в 1968 году она вышла отдельной книгой. Затем последовали рассказ «Уроки французского» (1973), повести «Последний срок» (1970) «Живи и помни» (1974) и «Прощание с Матёрой» (1976).

С началом «перестройки» Распутин включился в широкую общественно-политическую борьбу. Он занимает последовательную антилиберальную позицию, подписал, в частности, письмо с осуждением журнала «Огонёк» («Правда», 18.01.1989), «Письмо писателей России» (1990), «Слово к народу» (или манифест ГКЧП, июль 1991), обращение 43-х «Остановить реформы смерти» (2001). Крылатой формулой контрперестройки стала процитированная Распутиным в выступлении на I Съезде народных депутатов СССР фраза П. А. Столыпина: «Вам нужны великие потрясения. Нам нужна великая страна». 2 марта 1990 года в газете «Литературная Россия» опубликовано «Письмо писателей России», адресованное Верховному Совету СССР, Верховному Совету РСФСР и ЦК КПСС, где, в частности, говорилось:

«В последние годы под знаменами объявленной „демократизации“, строительства „правового государства“, под лозунгами борьбы с „фашизмом и расизмом“ в нашей стране разнуждались силы общественной дестабилизации, на передний край идеологической перестройки выдвинулись преемники откровенного расизма. Их прибежище — многомиллионные по тиражам периодические издания, теле- и радиоканалы, вещающие на всю страну. Происходит беспрецедентная во всей истории человечества массированная травля, шельмование и преследование представителей коренного населения страны, по существу объявляемого „вне закона“ с точки зрения того мифического „правового государства“, в котором, похоже, не будет места ни русскому, ни другим коренным народам России». Распутин был среди подписавших это обращение.

Летом 1989 года на первом съезде народных депутатов СССР Валентин Распутин впервые высказал предложение о выходе России из СССР. В 1990—1991 — член Президентского совета СССР при М. С. Горбачеве.

В 1996 году был одним из инициаторов открытия Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы в г. Иркутске.

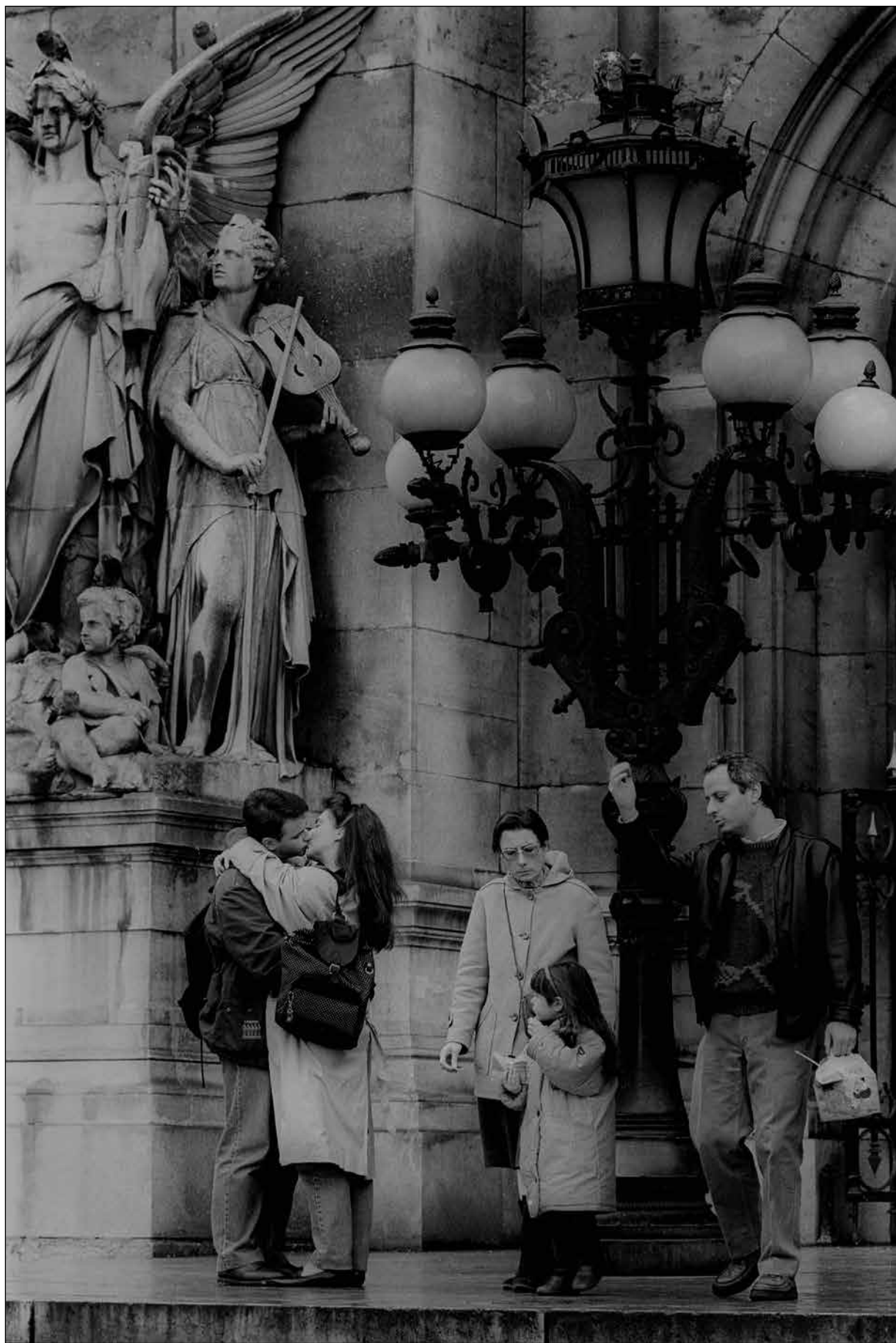
В 2007 году Распутин выступил в поддержку Зюганова, является сторонником КПРФ

С 26 июля 2010 года — член Патриаршего совета по культуре.

30 июля 2012 высказался в поддержку уголовного преследования известной феминисткой панк-группы Pussy Riot. Он вместе с Валерием Хатюшиным, Владимиром Крупиным, Константином Скворцовым опубликовал заявление под названием «Молчать не позволяет совесть». В нём он не только ратовал за уголовное преследование, но и весьма критически отозвался о письме деятелей культуры и искусства написанном в конце июня, назвав их соучастниками «грязного ритуального преступления».

В Иркутске Распутин содействует изданию православно-патриотической газеты «Литературный Иркутск», входит в совет литературного журнала «Сибирь».

<http://ru.wikipedia.org>



Вам снова хочется в Париж?! Мне тоже.

Не Эйфелева башня, не Лувр, не Трокадеро, и не Нотр Дам де Пари с прочими достопримечательностями, – обыкновенная уличная толчае возьмет на живое, повернет к себе и поведет во времени, в котором легко себя узнать без зеркала.

Мы называем цепочку дней жизнью, если в них каждый миг что-то происходит, и тут же отзывается в нас самих: мы широко открываем глаза, а в ответ все вокруг открывается. Жизнь струится чистым ручьем.

Перед Гранд-опера площадь. На Гранд-опера часы. Перед входом в театр – подиум ступеней, этакая многоярусная сцена, на которой видно всех, а с нее – тоже.

Когда минутная стрелка вздрагивает без четверти каждого часа, то, словно из-за кулис жизни, на площадке множатся люди. Все они очень разные, как бывают непохожими ждущие люди... Кто-то припал на ступеньку книжку читать, другой чудак на возвышении еще одной скульптурой изваялся, дама под капюшоном прячет волнение, совсем юная девочка балансирует по острию ступеней, а возмужалый Дон Жуан рассеянно считает облака. С каждой минутой являются новые персонажи, переполняется площадь, скачет минутная стрелка, нарастает волнение, сцена замирает в стоп-кадр, все взоры устремлены на площадь у выхода из метро... Все ждут! Чего? Второго пришествия?! Конца света?! Парада планет?!

Но вот грянули часы увертюры к «Фигаро» и пришла Она. Взлетела к нему. И застыли они под крылатыми музами, что держат в руках не мечи, не серпы с молотом, а лютни, виолы и лиры.

Тем временем мизансцена таяла: дождались, встретились, ушли... часы умолкли. Только те двое стояли в поцелуе под вечной музыкой.

Пустеет площадь, но не надолго, чтобы через полчаса вновь стать Площадью Ожидания. Приходя сюда каждый день, я привык к немудреной истине: состав жизни прост – ожидания и встречи, а расставания и разлуки – вопреки жизни, их прерывают, как дурные сны. Чтобы жить навстречу жизни на площади ожидания.

В Центре Жоржа Помпиду – огромная выставка великого французского фотографа Брассаи. Бродя по экспозиции, всюду натыкался на островки Пикассо: то графика, то скульптура, то гобелены... Оказывается, все это сотворено Пикассо от фотографий Брассаи – и по сей день эти двое великих идут в обнимку по французской культуре. Но в начале была фотография... Я еще раз понял, чем отличается значительная культура от мнимой: тем же, чем дарение отлично от воровства.

На кладбище Сент-Женевьев де Буа живут ручные скворцы: я снимал их на русских надгробных крестах почти вплотную, а они косили глазом на мою ладонь, –

и почему у меня ничего не оказалось для них?

На могиле Андрея Тарковского кельтский крест венчает черно-мраморную глыбу с надписью: «Человеку, который увидел ангелов.»

Обрел свою могилу Виктор Некрасов, – прежде он был подхоронен в могилу некоей русской женщины с согласия ее родственников. а в газете «Русская мысль» непрерывно публиковались объявления о поиске земли для захоронения великого писателя. В городской мэрии Сент-Женевьев де Буа тогда властвовали французские коммунисты, они лихо продавали кладбищенскую землю всем, но только не русским. Их недолгая власть закончилась в ближайшие выборы.

У Александра Галича оплывает свеча, подтекая на древнюю истину: « Блаженны изгнанные правды ради...», высеченную на черном мраморе.

Чуть в стороне от Елисейских полей я с трудом нашел редакцию газеты «Русская Мысль». Зашел и обомлел, узнав нечто родное. У дверей сидела корректорша, стол ее на вершок завален бумагами, поверх них – телефон на проводе и огромный кот с таким казачьим причуром. Когда, секретаря на телефоне, она брала трубку и говорила по русски, кот самодовольно мурлыкал в микрофон. А стоило ей больше минуты говорить по французски, – кот недовольно бил лапой по рычагу, отключая телефон. А за стеной переругивались в типографии на родном наречии. Не лучше ли быть «безродным космополитом», чем котом-русофилом, – подумалось мне в ту минуту.

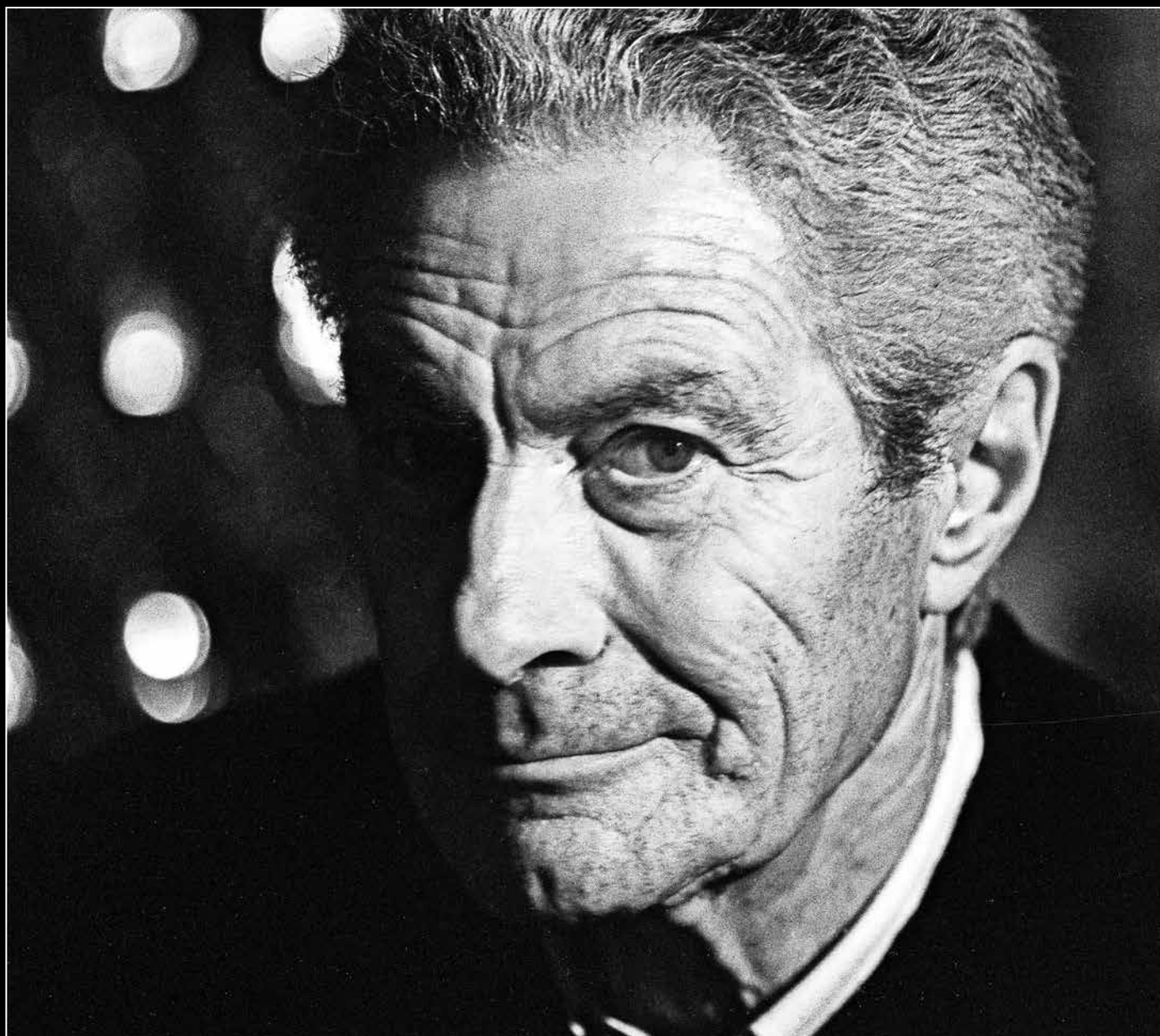
Во Франции последний анекдот, естественно, о новых русских. Один из них, покупая бутылку “Бордо”, долго и безуспешно пытается объяснить с ничего не понимающим продавцом, повторяя, как заклинание:”Бордеукс...бордеукс!” Да и анекдот ли это?!

Теперь мне снятся пейзажи Прованса: зеленый бархат виноградников до горизонта, обрамленных оливковыми рощами по склонам холмов с древними замками на вершинах, поросших ливанским кедром.

Таким может быть только рай.

Не было бы изгнанных!





Мы встретились глазами...

Французу, ступившему в Сибирь, было все в диковинку и непонятно, к уверениям, что здесь знают его кино, он даже не прислушивался, а весь обратился в сплошное зрение, ожидая уловить правду вне слова.

Саша Вьерни - великий камера-мен французского кино, начинал свою карьеру еще у Луиса Бунюэля, известность пришла участием в проектах Алена Рене и Питера Гринюэя... «Хиросима, моя любовь» и «Человек из Мариенбада» легли в историю мирового кино неповторимыми шедеврами операторского искусства.

В кампании Натальи Варлей он вдруг очутился в Иркутске, где собрание журналистов пыталось его расспросить о звездах французского кино. Он сослался на полную неосведомленность, чем облегчил жизнь переводчику, и продолжал лукаво всматриваться в наши лица, словно перелистывая редкую книгу... Верно, светилась в сознании недавняя работа с Гринюэем «Книги Просперо», где утонченные ренессансные композиции шекспировского стиха перемежались сюрреалистическими видениями... Он продолжал перелистывать «Книгу Зеркал», что вся оттуда и прозреваем в ней каждый из нас...

Не смея отвлечься от магии его глаз, я установил камеру на штатив, наделил ее независимостью, просчитал, как мог, свет в кадре, нечаянно нажал на спуск и камера радостно «чирикнула»... Мастер понял мои намерения, словно прозрел мой кадр и в его глазах мелькнули одобрение и понимание. Мы встретились глазами и прозрачный вектор светописи нас соединил. Эффект сопричастности происходящему, чуждый словам и наречиям, заполнил пространство, в котором теперь стало тесно и уютно.

Год спустя Саша Вьерни получит «Оскар» за вклад в мировое кино, чем американская академия отметит его работу в 70 фильмах, где его мастерство непредсказуемо и несомненно... А еще через год, не успев потрепать этот венок славы, он уйдет в мир иной, где его беспокойный взгляд так просто не потухнет...

Елена Камбурова: *«Радость в том, что я не сижу на месте, сложа руки, и не сокрушаюсь — как же всё ужасно. Существует наш театр музыки и поэзии — маленький ноев ковчег, островок спасения. в нем мы продолжаем традиции вечно искусства — спектакли наши направлены на то, чтобы делать человека лучше, добрее, светлее. Ну, и я выступаю... я абсолютно уверена, что песня — живое существо, проживающее во времени. А у каких-то песен нет возраста,— они живут пока живо человечество... Они всякий раз рождаются заново, будучи пропеты. Потому я уверена, что и мы с ними рождаемся заново, избавляясь, им благодаря, от обиденной шелухи, от жизни обывателя...»*

Она поднялась (именно поднялась) на сцену в те далекие семидесятые, пропев Булата Шалвовича, а заодно продышав иной интонацией старые и памятные песни комсомольцев гражданской, сибирских кандальников, той же «Гренады» или «Шумел камыш». Впервые услышав их тогда, я восхитился песенной культурой — как много было в ней неподдельного, трагичного и терпеливого, словно выпевало их народное эхо, придавленное горькой судьбиной. И я вспомнил тогда, что именно этот почти обессиленный властью народ творил частушки на злобу дня: «Огурчики-помидорчики...Сталин Кирова пришел в коридорчике.» или «Цветет в Тбилиси алыча — не для Лаврентья Палыча !», или хлеще того « Обменяли хулигана на Луиса Карволана, Где ж найти такую блядь, чтоб на Брежнева сменять!», а уже после того добавили ради красного словца « Самолет летит в Европу, Солженицын в нем сидит — вот те нате, хрен в томате — Белль, встречая, говорит.» Тут и Пушкин восхитился бы привилегиями народного таланта...

Но раскатистое народное эхо услышала Елена Антоновна и, повязав голову холщевым платком, пропела старые деревенские колыбельные, давно неслыханные и утраченные, согретые русской печью и парным молоком.

Едва родившись, человек вместе с материнским молоком получает песню. Наквозь поэтичный в своих суждениях Федерико Гарсиа Лорка заметил однажды: «Идеальной колыбельной было бы повторение одних и тех же нот с увеличением их долготы и выразительности; но мать не хочет быть заклинательницей змей, хотя использует по сути ту же технику. Ей нужны слова, чтобы внимание ребенка было приковано к ее устами, и при этом ей хочется говорить ему не только приятные вещи; она вводит ребенка во всю грубую реальность мира, заставляет проникнуться всем драматизмом его. Так получается, что слово колыбельной песни идет против спокойного течения сна, текст тревожит ребенка, рождает недоверие, страх, против которых борется бархатная рука мелодии, причесывающая и усмиряющая вставших на дыбы лошадок, что расходились перед глазами маленького существа...»

С этих детских лошадок, возможно, и начинается песня... Припоминаю я песни нашего послевоенного детства, детство народа, освободившегося от войны: песни, услышанные из-под иглы патефона... Главной песней поколения был «Орленок». Лена пропела ее в Иркутске и мы не могли не подружиться тогда. Совсем недавно



я получил от нее диск с первыми песнями и ее дарственной «Это – мое начало. Да и твое тоже...» Так песня «Орленок» перелетела сквозь целую жизнь, оставаясь такой, как мы ее пели, без политики, без надсады, как может петь только детство. Песня захватывала всю глубину человеческого голоса от затаенного шепота до срывающегося крика, пульсировала, как оголенный нерв поэзии. Трагедия в ее исполнении (нет, – в наполнении) перерастала мир, поднятая голосом до эпических вершин.

Елена Камбурова: *«Для меня живой голос несовместим с вокальным, что существует как бы вне природы, этакий полимер от вырождения духовной и светской музыки. Традиционная опера бесконечно оскудила его, поставив в противоположность слову. Любой оперный певец, независимо от уровня одаренности, поет не слово, которое у него на устах, а ноты из-под дирижерской палочки. Единственное исключение – Шаляпин – лишь подтверждает правило. Его голос, данный судьбой и эту судьбу вместивший, всякий раз рушил оперные устои и каноны. Живой голос измерен только словом, словом рожден и в слове иссякает...»*

Певческий дар скорее всего, не поддается измерению. Но ежели он слит с даром мастерства, то истекает полноводной рекой, по берегам ее уже расселились люди, что всегда одолимы жаждой слова. И среди великих рек изобилием своего дара Елена Камбурова неизмерима, как стихия: пропетые ею поэтические имена невозможно перечислить, песенные языки и наречия вряд ли ограничены, она впервые породнила в своей программе Владимира Высоцкого и Жака Бреля, услышав их потаенное родство... И всегда, помня истоки, возвращается к ним – на самой стремнине реки струится перепевами Булат Шалвович Окуджава. И тогда в ее театре, маленьком и волшебном, зрители усаживаются за гостевой стол с вином и фруктами, актеры, что рядом и напротив, под песенные тосты начинают спектакль «Капли датского короля». Зрители, будучи с актерами глаза в глаза, охотно подпевают и включаются в этот высокий пир.

Елена Камбурова: *«Поэзия явилась в мир в форме песнопений: «Слово о полку Игореве» распевали под гусли, Гомер тоже пропевал «Илиаду и Одиссею»... Мелодия при отсутствии письменности сберегала слово, наделяло его памятью голоса... Песнь была зачатием человеческого искусства и передавала от поколения к поколению опыт жизни на Земле. Поэт, философ, историк слились в песенной стихии. Это и было островком гармонии в мире хаоса. Песня и задуманный мир были сотворены одновременно, мы – их продолжение... Всего то, что я делаю, – пытаюсь восстановить равновесие слова, музыки, голоса и дыхания, – древнее желанное равновесие, которое до сих пор живет в народных песнях... Кстати, древние русские напевы так и назывались «стихиры» – ощущаете корень слова?!»*

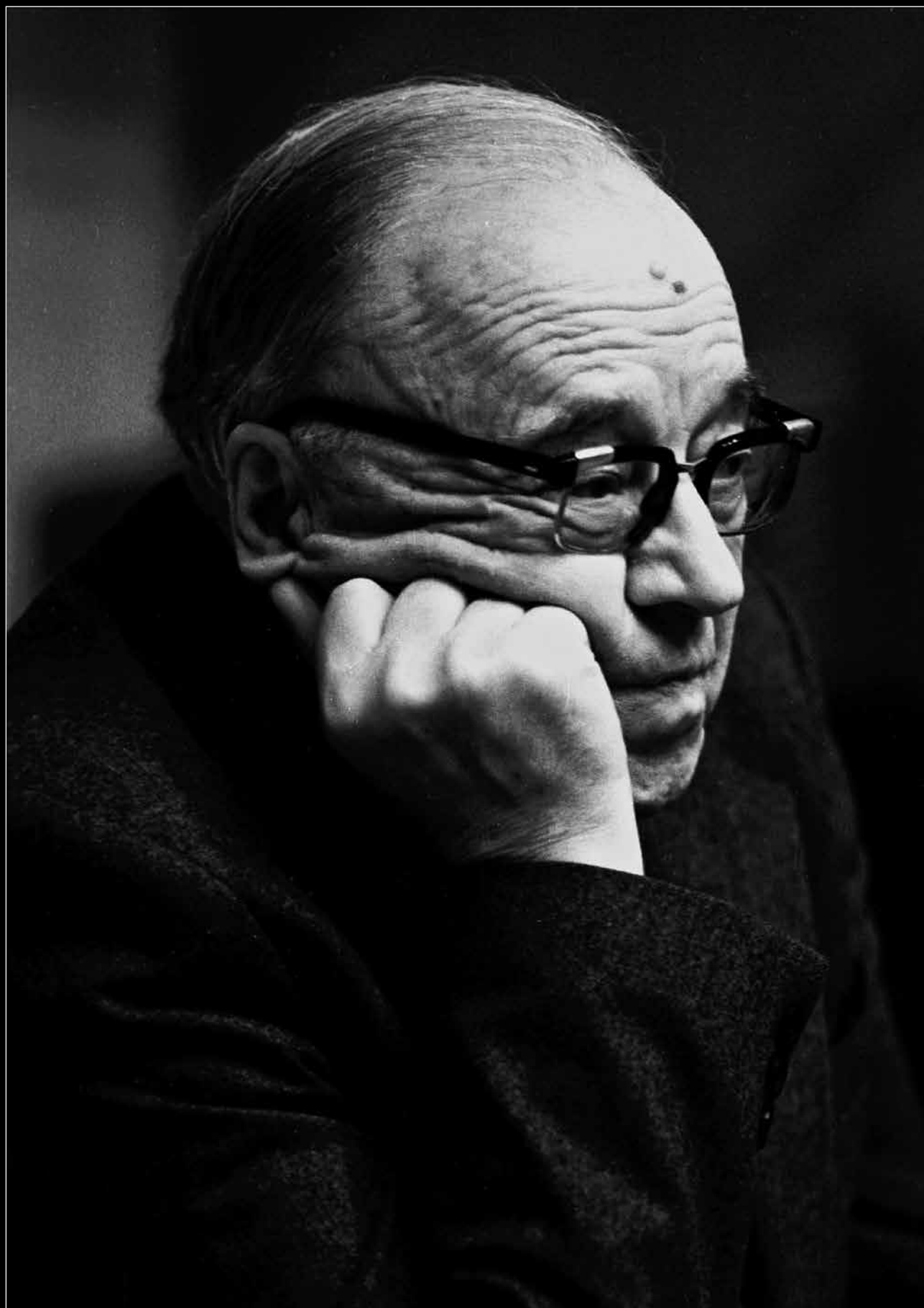
Как всякий большой мастер, она собрала на себя всю поэтическую эпоху от Осипа Мандельштама до Булата Окуджавы и Иосифа Бродского, включая потаенное и почти потерянное народное наследие, что поднял впервые на свет Дмитрий Покровский.

Она избегает многотысячных залов, ее песни оживают в ином пространстве, когда слушатели каждый по себе внимают певцу, рассевшись кружком. Ее песни адресованы каждому в отдельности, но никак не общей массе поклонников, объединенных одним ухом – одним духом объединены ее песни!

Ее крохотный театр около Ново-Девичьего монастыря подарил ей свободу голоса и непереносимое желание чуда вровень с режиссером Иваном Поповски. Говорят, между гастрольями Елена Камбурова выходит на сцену в «Антигоне», где одна во всех ипостасях – не довелось увидеть, хотя знаю, как нелегко складывалась ее актерская судьба: пробовала поступить на курс Юрия Любимова в вахтанговское училище (тот самый курс, что стал потом Театром на Таганке), да не прошла по конкурсу и попала потом в эстрадно-цирковое училище, где училась вместе с Леонидом Енгибаровым, великим мимом. Теперь же все вернулось «на круги своя»: театр – поэзия – музыка – дыхание – гармония – культура. Та культура, что не запятнана в служении большевикам.. Вечная. Горькая. Родная.

Я вслушиваюсь в Ее песни всю жизнь, И не сразу понял, но запоздало, но ей благодаря, что мастерство художника заставляет обнажить слух и отворить глаз.

Минули годы и десятилетия в нелегкой и уверенной работе – не надо тревожить ее в антракте, дайте передохнуть!



Студентами мы не мыслили себя без иркутского симфонического. При каждой новой программе филармонический звл наполовину заполнял университет, студенты и преподаватели.. Оркестр был вправду хорош, случались невероятные гастроли,— мы дважды слушали Святослава Рихтера.

Каждый концерт предварялся лекцией Владимира Федоровича Сухиненко. За двадцать минут он успевал рассказать об эпохе, композиторе, культурном контексте, музыкальной форме произведения; не переводя дух и захлебываясь мелодией, он пропевал музыкальные фрагменты, пересказывал удивительные события, вспоминал анекдоты, а имена, даты и цитаты сыпались, как по волшебству.. Это была такая мощь памяти, интеллекта и энциклопедичность знаний, перед которыми не стыдно себя чувствовать олухами и неслухами, но уже посвященными.

Наконец Владимир Федорович приглашал оркестр и первым выходил незабываемый Леонид Мессман, первая скрипка оркестра, в нас отворялся слух, освобождался ум, просыпалась фантазия и все замирало в ожидании музыки.

Не помню уже чья была идея, но мы всей группой потребовали от деканата посвятить факультативные часы лекциям по истории музыки в изложении маэстро Сухиненко. К причуде второкурсников отнеслись снисходительно и поставили его лекции первыми часами с 8 утра., полагая, что мало кто придет и все само собой рассосется..Однако вышло все наоборот: аудитория была полна, тишина стояла, как в симфоническом собрании. Степенно вошел Владимир Федорович во всей своей атлетической стати и положил перед собой маленький кирзовый портфельчик, ключиком отомкнул его, достал стопку карточек с записями и хохотнул на нечаянно открывшуюся дверь: «Вошел кто-то в черном и заказал мне реквием...- так началось едва ли не последнее утро великого Вольфганга Амадея Моцарта».

Он держал в руках стопку карточек, пальцами перебирал их. как четки, но почти не заглядывал в них. Непрерывный поток плотной и живой речи не давал нам отвлечься, передохнуть, - нас штормило в этом потоке.... Чтоб не тратить время попусту он весь семестр посвятил только Моцарту, Баху и Бетховену, - мы же бросились к библиотечным полкам. В Иркутске нашелся только один экземпляр великой книги Альберта Швейцера о И.С.Бахе,— этот тысячестраничный фолиант переходил из рук в руки...Вот что учинил с нами Владимир Федорович.

Однажды мы толклись перед аудиторией, ожидая его приход. Он появился как-то вдруг и замер у стены, где висела моя первая фотовыставка. Оборотился к нам властно и громко потребовал представить автора. Я стоял рядом и промямлил что-то невнятное в смущении. Он тут же резко меня обнял и обрушил на меня восторженную речь, коей обычно славят великих и ушедших, причиной его «срыва» был портрет Святослава Рихтера среди выставленных работ.

Не скрывая радости, он тут же дал свой телефон и пригласил меня в гости.. Осмелев после шока, я воспользовался приглашением.

Его дом на Киевской был удивителен. Дух доброй старины патиной лежал на всем, как на серебре... Рояль на виду, — я слышал Скрябина от рук хозяина при первой встрече, — старые книги, в которые он поминутно заглядывал в ходе беседы и вычитывал цитаты, строй кофейных банок с разными сортами кофе, — всякий раз меня потчевали, — бутылка алжирского вина, только что выкопанная в подполье и вся в земле, — хозяин уверял будто оно французской породы, почти «Бордо» и потому, купив добрую партию бутылок, закопал их на хранение...

Он рассказывал о глухариной охоте, о своем старом автомобиле «Виллис», о тонкостях вкушания кофе, о чешской сборной по хоккею, об иркутских музыкантах от начала оркестра, о фотографическом ремесле... Это были удивительные рассказы, когда предмет знают не понаслышке, а со всех сторон, включив его в свою жизнь. Это было великое искусство беседы, что бытовало в России много веков, когда не было нужды «травить анекдоты» в застолье, обедаться и балагурить, а собеседники за трапезой интересовали друг друга более, чем содержание тарелок. Увы, прошедшее время...

Помню, встретились мы нечаянно в тот день, когда иркутский орган в Польском костеле был впервые готов к концерту. Открывать орган приехал консерваторский учитель Лидии Янковской, именитый органист Юлий Ройзман. Он высоко оценил новый инструмент. А Владимир Федорович, сдержанно-многословный в обыкновении, в тот момент был просто счастлив и светился новым рождением, столь дорого его сердцу было явление органной музыки в Иркутске. Мы долго шли через город обратной дорогой и Владимир Федорович рассказывал мне без умолку об органных сочинениях Баха и Букстехуде, о великом сегодняшнем мастре Оливье Мессиане, что служит органистом в Нотр Дам де Пари... Потом его рассказ перешел на великих строителей органов, населивших Европу такими замечательными и непохожими инструментами.

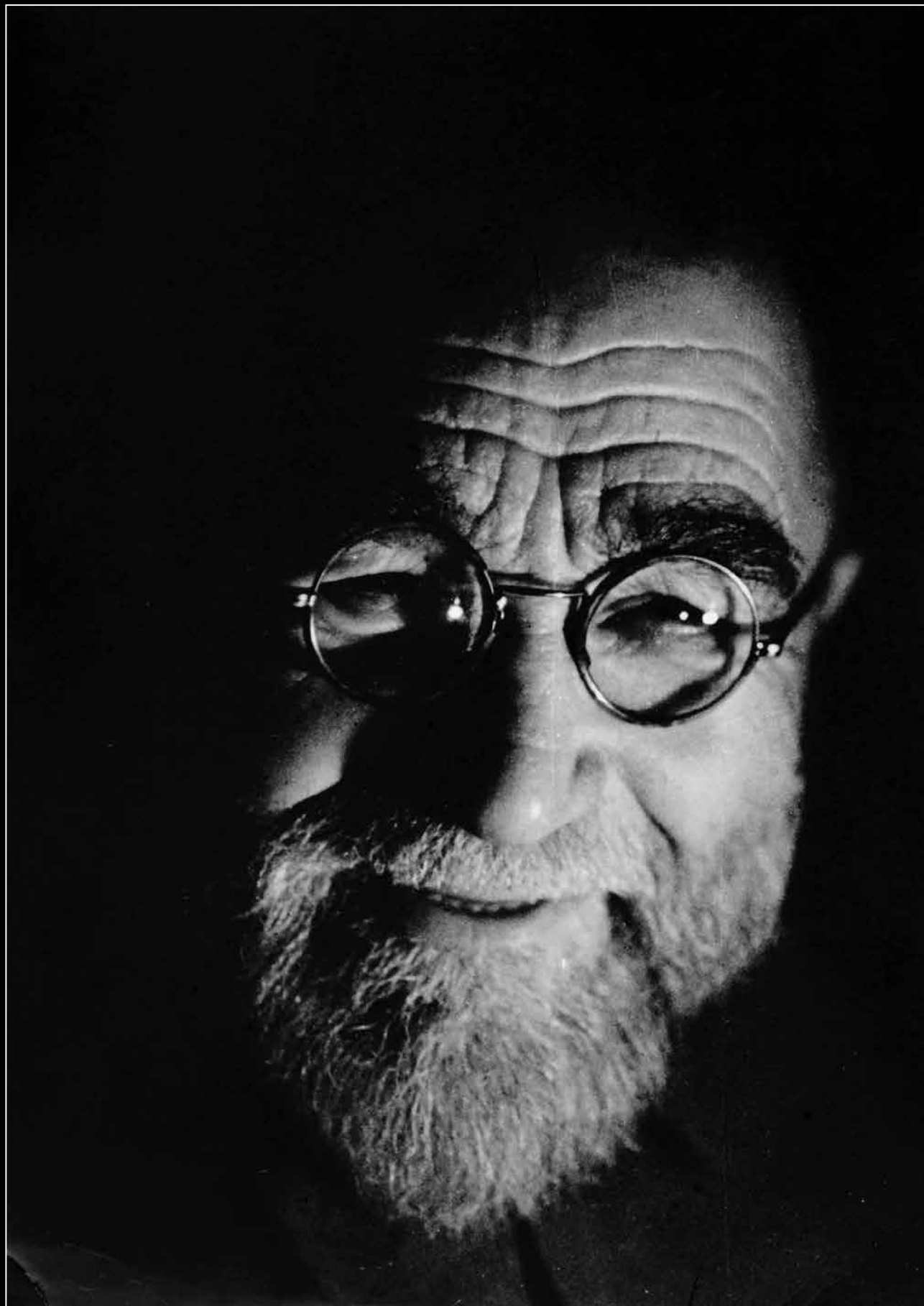
Мы долго гуляли. Сыпался долгожданный декабрьский снежок. Уроки музыки продолжались. И не думал я тогда, что станут они нескончаемыми. Можете не поверить мне, но отправляясь в дальнюю дорогу, я включаю в автомобиле «Бранденбургские концерты» И.С.Баха. Прежде они казались путанными и невнятными, теперь же я слышу великую музыку, что добавляет в жизнь каплю вечности.

Последние годы мы редко виделись. Он оставил филармонию не по своей воле, его «закрыли» на областном телевидении по произволу. Но всякий раз на тривиальный вопрос о жизни Владимир Федорович мощно всхлывал и добавлял: «Саша, я уже пошел на коду!» Потом случился финал неизбежный и не всеми замеченный, словно по предсказанию поэта;

«Присутствие мое как будто замечали.

Заметят ли отсутствие мое?!»





Николай Михайлович Ревякин жил на Ольхоне неприметной жизнью сельского учителя. Тем и был знаменит, как любой настоящий учитель. Птенцы его гнезда, Хужирской средней школы, где он директорствовал, путешествуя со своим учителем по острову, совершили столько географических и археологических открытий, что на многие жизни с избытком хватит. Они первыми, еще в 50-х годах прошлого века, раскопали более 20 стоянок древнего человека эпохи неолита, - сам Алексей Павлович Окладников, работая с археологическими памятниками Ольхона, восхищался открытиями школьников. Они обследовали подножье горы Ижимей и впервые описали рощу реликтовых елей доледникового происхождения. Каждая их экспедиция собирала попутно такое количество этнографического материала, причем уникального свойства, поскольку они были первыми, что скоро школьные кабинеты оказались переполненными и пришлось так же сообща строить свой музей в школьном дворе.

В далекие 70-е мне улыбнулась удача крыльями аэрофлотского Ан-2. Взлетев над Байкалом в погожий июльский день «русфанер», скрипя, раскачиваясь и падая в воздушные ямы над Малым морем, приземлился на Ольхоне, в Харанцах, где был очень ухоженный и самый красивый аэропорт на берегу Байкала. Часовая прогулка по райскому острову, нетронутому и по-таежному благоуханному, закончилась в Хужире. Я остановился у школы, дождался явления первого живого человека, чтобы выпросить дорогу к гостинице. Признав во мне путешественника, мой собеседник, возрастом и обликом напоминавший нашего кумира, «папу Хэма», тут же зазвал меня в ближний домик, что оказался школьным музеем. Так познакомился я с Николаем Михайловичем. Его музей ошеломлял уникальными находками, непритязательной четкостью экспозиции и особым уединением, которое случается – это я понял позже – только в насыщенном благодатью пространстве.

Мы провели не один вечер вместе в его доме напротив музея. И здесь все полнилось чудесами: я держал в руках и читал – в кои то веки и где? – письма академика Обручева к Николаю Михайловичу, разглядывал фотографии совместных раскопок школьников с академиком Окладниковым – видано ли где такое?,- а потом взыскательно осматривал самодельную фотокамеру из фанерок и тряпочек, придуманную хозяином и вполне рабочую. Я общался с умнейшим волшебником, каких прежде не знал...И за что мне такое,- вопрошал я потом?!

Утром мы встретились у Шаманки. Николай Михайлович был на мотоцикле типа «Эх, прокачу!», но вполне на ходу. И я услышал рассказ, как его мотоцикл, оставленный на обрыве у Шаманки, налетевшим шквальчиком был сброшен в Байкал с приличной высоты и лег на дно. Через пару лет водолазы его подняли в целости и сохранности, хозяин подсушил его, влил бензин, завел и поехал. «Байкал сберег!»,- пафосно заметил Николай Михайлович и сверкнул улыбкой.

Музей теперь расстроился, носит его имя, а Капитолина Николаевна, дочь его, водит экскурсии, многочисленные и благодарные. В самом центре экспозиции горделиво, но без наездника, красуется тот самый мотоцикл.

Профессор Трушкин Василий Прокопьевич обладал поразительной памятью, про которую даже песню сложили: «...все, что было не со мной, помню!».

В своих лекциях по истории сибирской литературы он буквально захлебывался неведомыми текстами неизвестных авторов, которые воспроизводил по памяти.

Мы, студенты, вяло слушали про Петра Петрова, Исаака Гольдберга, Глушкова-Олерона... порой засыпали и, отряхнувшись, снова попадали в словесный поток, который уже очень далеко унес нашего профессора. На его лице читалось не то, чтоб удовольствие – скорее сладострастие по ушедшей сибирской литературе... Да и была ли она?! Скорее всего, была, но след оставила только в историках.

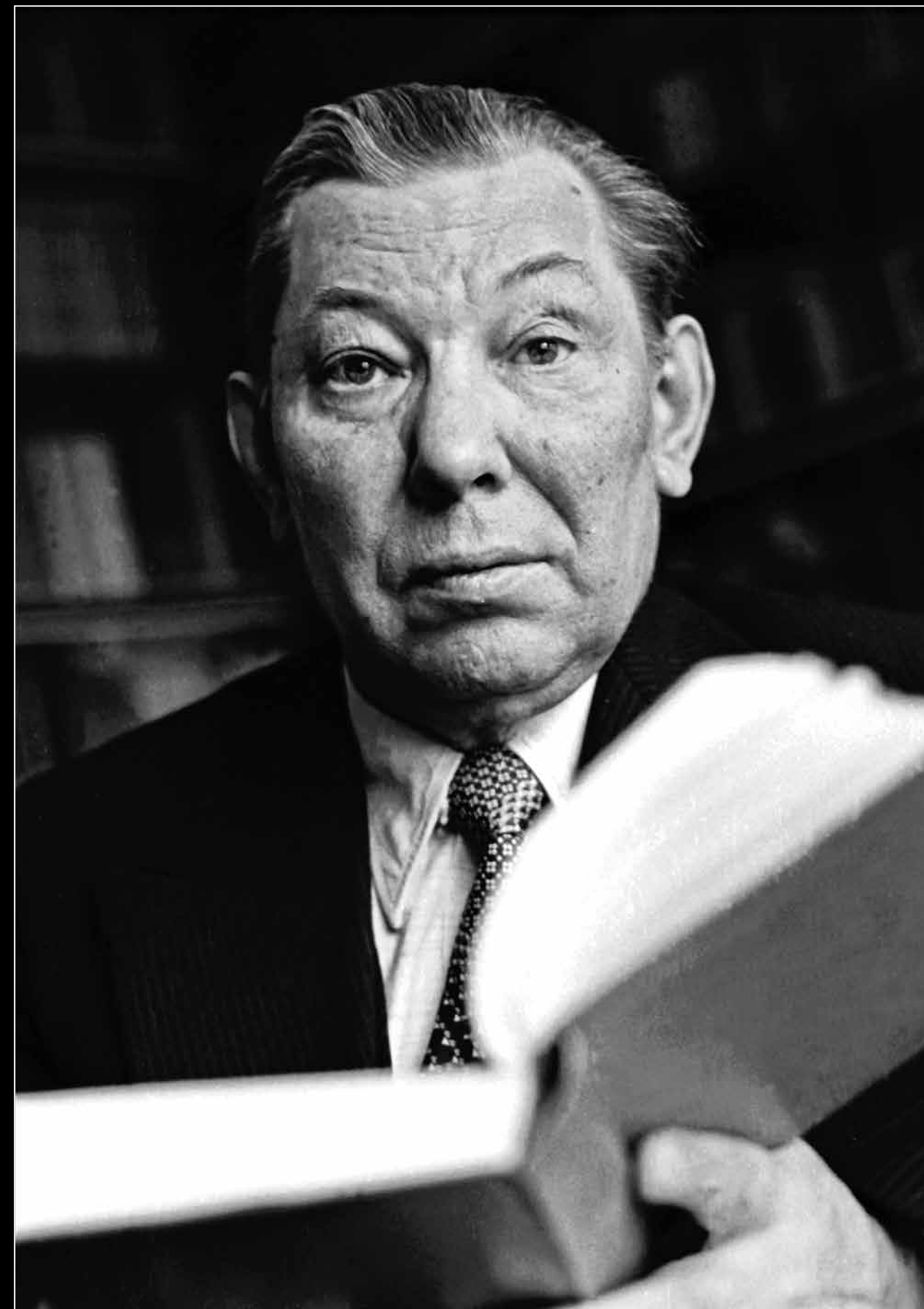
Путаясь в лабиринте имен и дат, мы невольно задумывались о судьбе местечковой литературы, – сегодня ее дом переполнен, а завтра необитаем. И читателей нет, есть исследователи, преследователи, следователи... Хороший урок: не ходите дети в лес!

Василий Прокопьевич, как всякий библиофил, забывался, видя вожаемую книгу, тратил последние деньги и черпал счастье со страниц, тексты которых ложились в память навсегда, а жизнь вмещалась в литературу с избытком. Житейские впечатления – в дневник, который писался всю долгую жизнь: «1964. 19 апреля. Воскресенье. Вчера получил зарплату. Женя наказала, уезжая на дачу, чтоб из неё не тратил ни копейки. Мы должны кругом и с трудом сводим концы с концами. Но я всё же не удержался и истратил три рубля, купив два тома Якубовича «В мире отверженных» и русско-немецкий словарь Никовой. В прошлую зарплату я истратил таким же образом 20 рублей... Сейчас в магазине лежит отложенная литература ещё рублей на десять. Книги разорят меня в лоск...», «1937. 18 февраля. Полдень Книги хочу на время бросить читать. Сильно устал. В самом деле, читаешь день и ночь (даже каникулы), и времени нет отдохнуть. Читаю немецкие газеты, русские газеты и т.п. (недавно прочёл Груздева «Литература эпохи Возрождения западноевропейских стран»). Ведь подумать! Мне 15 лет, а столько прочёл!».

Его родители, спасаясь от голода в Саратовской губернии, в 1933 году приехали в Сибирь, поселились в Заларях. Верно, голод физический был так велик, что не иссяк в поколении и воплотился в книжную ненасытность, – феноменальный случай!

Мы, студенты далеких 70-х знали об этом, и даже, позевывая на лекциях профессора, восхищались его святым замозабвением перед книгой, добрым сердцем, что привечало любое словописание, и исполинской памятью.

А кто-то из нас успевал догадаться, что сибирская литература была просто университетской профессией Василия Прокопьевича. Его заветные чувства жили в поэтике Эдуарда Багрицкого, чьи хулиганские строфы читались им с великим почтением и жаждой.





В нашем провинциальном сухопутьи встретиться с настоящим капитаном, согласитесь, большая удача. Его имя, Казимир Андрутайтис, было в Иркутске не просто на слуху, а окружено почтением и легендами. Сорок лет за штурвалом, сложнейшие проводки судов и караванов по Ангаре, штурманские реформы в пароходстве, блестящее знание фарватера, старая славная мореходная школа...А последняя в его судьбе шкиперская операция стала венцом его карьеры и вряд ли сравнится с чем либо подобным.

Беспризорный ледокол «Ангара», легенда байкальской флотилии, доживал свой век в порту Байкал. Поверхностное обследование выявило еще достаточно прочный корпус и тогда было решено превратить ледокол а музей на плаву. Только для этого надо было провести судно через исток Ангары и дальше по водохранилищу до Иркутска. Фарватер в истоке так узок и неглубок, что даже яхты вписываются в него только при изрядном мастерстве рулевого. Разумеется, фарватер размечен буйами, но течение настолько сильное и незаметное, что можно легко промахнуться. И вот через этот лабиринт надо было провести огромный неуправляемый корабль с осадкой 4,5 метра. По расчетам Казимира Александровича с обеих сторон к «Ангаре» подвели две тысячетонных баржи, заполнили их водой, осадив до уровня ледокола, а затем завели под днище трех судов сеть из крепких тросов, связали их в единую сцепку и принялись откачивать воду из барж, оттого корабль поднялся на несколько метров и, отработывая двигателями направление, медленно вошли в струю. Такого зрелища Байкал еще не видывал. На главном мостике стоял капитан Андрутайтис и спокойно отдавал команды, словно исполнял обыденную работу. Спустившись к Большой Речке, матросы перевели дыхание...Шел 1974 год.

Спустя год я пришел к нему в гости. Его большой деревянный дом высился что ковчег на Глазковской горе. Гостиная, будто каюта, вычищена до блеска, сияет мебель красного дерева, какую только и признают моряки, в углу присел рояль, а за окном, казалось, несет свои воды Темза...Несуемое спокойствие дома настолько смещало географические координаты нашего провинциального быта.

Улыбчивая доброта хозяина напоминала пасечника до той поры, пока не облачился он в капитанский китель и не подсел к столику, где лежала лоция Байкала. Когда же я спросил о секретах судовождения, он, не мудрствуя, отчеканил; « На воде все написано, надо научиться читать эти письмена.»

Мы попрощались вскоре, но слова его запомнились мне надолго, – я и сейчас учусь читать байкальскую воду с фотокамерой в руках...

Недавно я остановился на берегу Ангары, вверх по течению скорым ходом шел корабль, я прочел на борту его имя: «Казимир Андрутайтис». Я улыбнулся воспоминаниям и старому морскому поверью, что гласит: «Как назовешь корабль так он и ходить будет!»

За его кормой длился кильватерный след.

Ремесло фотографа – это ожидание тишины. Тишины плотной, одушевленной оптикой, через которую ты вглядываешься в лицо человека и он вдруг попадает в твою тишину, словно по состоянию родства, земного подобия, небесной приближенности...

Эти три больших причинности выросли перед моими глазами, когда нечаянно и намеренно я пытался снять Сергея Айзековича Иоффе в доме писателей.

С той поры не покидает странное ощущение многих лет знакомства, дружбы, совместной работы. На самом деле все происходило на уровне «здравствуйте» в сопровождении внимательного взгляда, таящего явное желание остановиться и расспросить хотя бы про жизнь... Не случилось, каждый шел своей тропой в иркутской метели, минуя дома, сугробы, людей... Если и было в нас какое-то сияние, то мы темнили его безответностью.

И все таки пересеклись однажды. Уселись в моей мастерской и пробовали сойтись глазами и памятью в предполагаемой работе, посвященной Вампилову.

Сергей внимательно слушал и молчал, тая в глазах грусть..

– Уже в материале, уже попал, уже поплыл, – подумалось мне, продолжая тот странный разговор. Речь в нем шла еще и о смерти, как предвестьи славы.

Поэт молчал, вслушивался, смотрел прямо в глаза, а я инстинктивно проглатывал мгновения тишины.

– Давай попробуем! – услышал я среди паузы. На том и расстались. Как оказалось, навсегда: через два дня остановилось сердце...

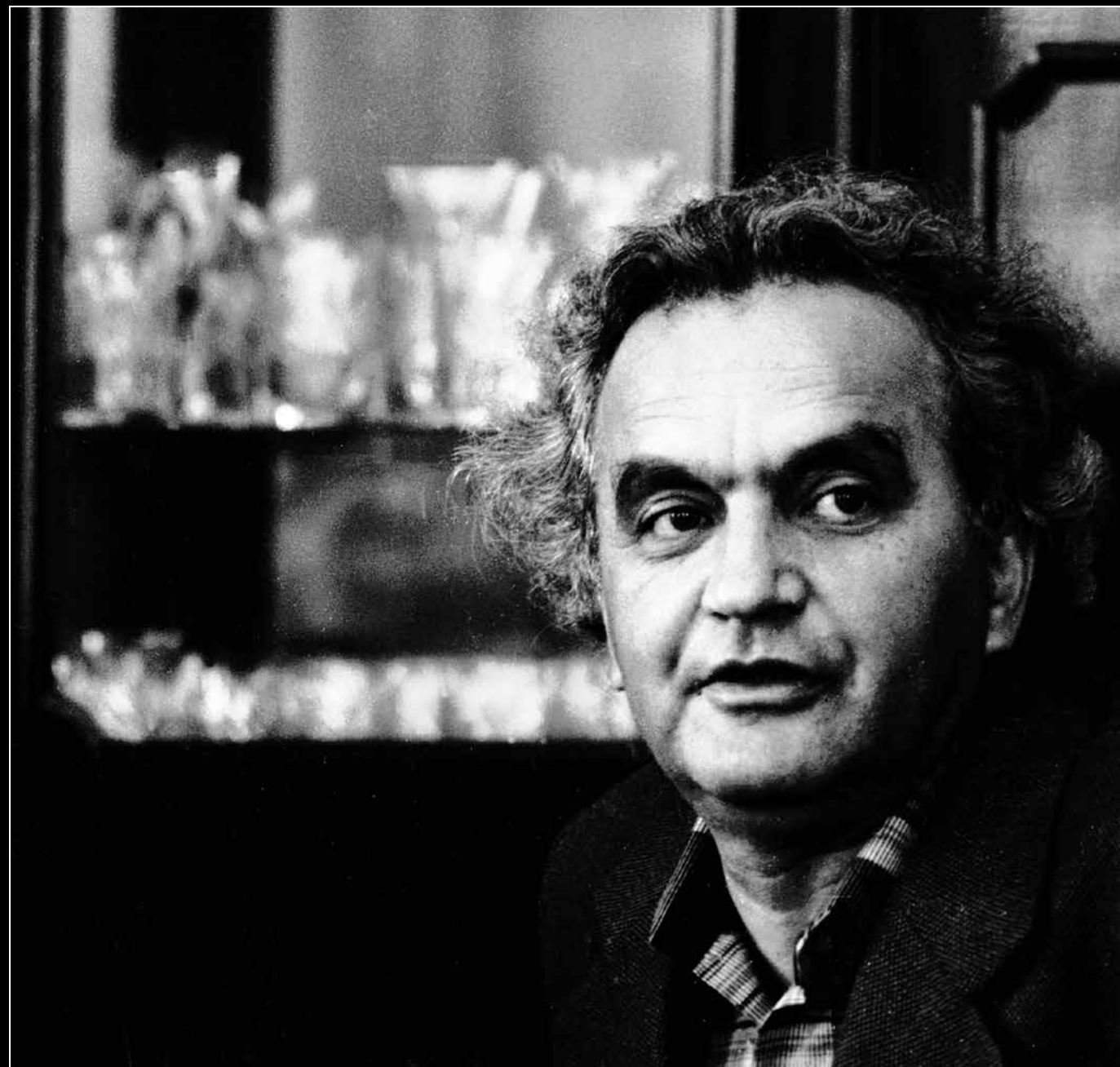
Читаю теперь его стихи, что сияют тишиной его взгляда.

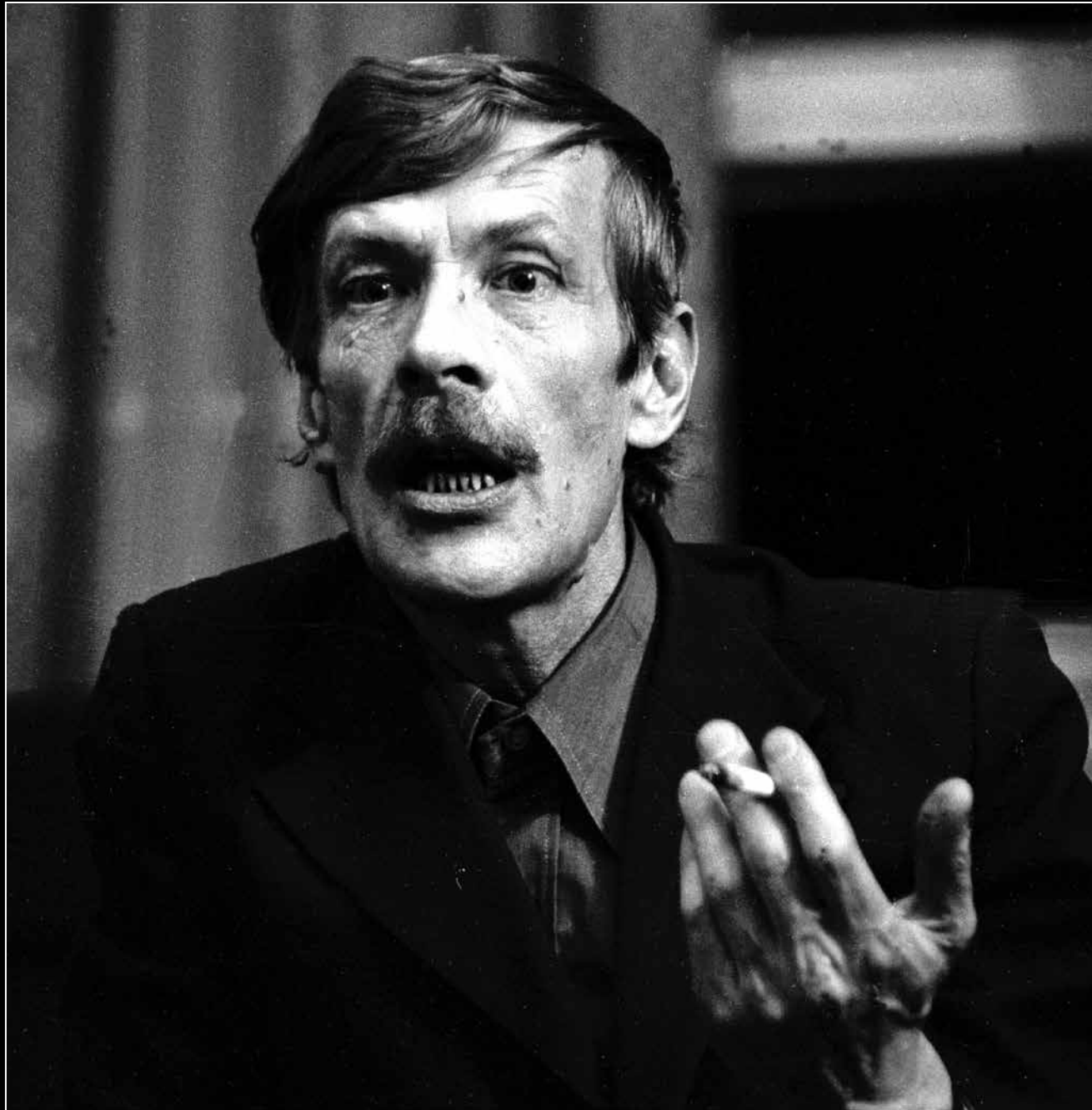
В той тишине таился Дар.

«Мы притворяться не умеем,
дела и помыслы – чисты.
Но как немеем,
как немеем,
садясь за белые листы!

Какая мертвенная пропасть
от наших дум
до наших слов!
Какая немошная робость
честнейших душ, лихих умов!

Не нам ли, радуясь и мучась,
писать всю правду до конца?
Иначе – гибельная участь
раба,
придворного певца.





Профессия кораблестроителя содержит фантастичность замысла уже при закладке первого шпангоута, — как рука Судьбы ляжет на штурвал, так корабль и пойдет по волнам, валам, штормам.

Евгений Замятин, написавший роман-утопию «Мы», был кораблестроителем по профессии, а слово «утопия» звучит у него, как метафора, заклинаяющая его корабль от гибели в открытом море.

Юрий Степанович Самсонов — тоже из гильдии кораблестроителей уже потому, что его фантастическая повесть «Стеклянный корабль» не затерялась в мировом литературном океане и корабль тот под парусами. Но более всего сближает их обоих пиратский нрав, необходимый при закладке корабля...

«...при всей нашей несвободе у нас можно добиться всего, чего хочешь, надо только оседлать чиновника так, чтобы он захрустел. Он ведь любым принципом поступится, лишь бы избавиться от неудобства, так что знай не отступай, тесни и досаждай, настырничай, никуда он не денется. У него, голубчика, под черепной коробкой полторы извилины, настройся на три — нипочём не различит подвоха при всей своей бдительности. И в самый наилучший микроскоп всё-таки не наблюдают звёзды.»

В самый разгул идеологических репрессий в 1967–68 годах, когда танки въехали в Прагу, когда началась травля А.И.Солженицына, два захолустных литературных журнала «Байкал» и «Ангара» вдруг, на радость всем читающим, публикуют сразу две повести братьев Стругацких: «Улитка на склоне» и «Сказка о Тройке». Первая публикация закончилась «редакторскими трупами», — Владимир Бараев, правивший «Байкалом», был отрешен навсегда. Юрий Самсонов, осведомленный о его участии, решил пойти на abordаж...

«Номер я подписал сам, но никаких военных действий не вел: ни с кем не консультировался, не запасался рецензиями, не оказывал никакого давления. По-видимому, это усыпило бдительность руководства издательства и облита, в общем-то привыкших к тому, что в критических ситуациях главный редактор альманаха, наоборот, проявляет активность. Повесть прошла без сучка и задоринки. В один альманах она не уместилась, и окончание пришлось перенести на следующий номер. Между двумя выпусками был перерыв примерно в два месяца, и я с опасением ждал, что начало повести дойдёт до более высокого начальства, последует запрет, и окончание повести не увидит свет. Пока не произошло, но ощущение занесённого топора не проходило, хотя и запряталось в самую глубину.

И только в феврале ночью раздался звонок из Москвы:

— Ваш Антипин получил за тебя в ЦК взбучку, едет в ярости, готовься...

Скоро Антипин нас вызвал. Особенно долго почему-то выяснял, откуда известно, что повесть относится к жанру фантастики. Никак его не устраивало, что я и сам фантаст, могу, поди, судить. Нет, это должно быть обозначено в подзаголовке — тогда будет фантастика. А без обозначения — ни в коем случае.

У кого-то в разговоре мелькнуло слово «позиция». Антипин налился кровушкой

и почти пропел своим хорошо поставленным баритоном:

– У нас может быть только одна позиция – классовая!»

Первый секретарь обкома Н. В. Банников спросил, как я оценил «Сказку о Тройке», когда получил её для публикации. Я ответил, что оценил произведение как антибюрократическую сатиру в области науки.

– А теперь как оцениваете? – задали мне вопрос в соответствии с намеченным сценарием.

– У меня не было времени изменить своё мнение, – ответил я.»

Сюжет обкомовской комедии всегда имел единственный «happy end» – «освободить!», что на языке лагерных начальников значило «уволить», хотя воля и свобода, как таковые, и не подразумевались.

Освобожденный Самсонов Юрий Степанович занялся своими рукописями и своей жизнью, пространство которой, как он вскоре заметил, вполне истоптано мастерами сыска, – «топтуны» проникали всюду, как в старом анекдоте: «... из унитаза смотрели умные проницательные глаза майора Пронина.» Не то фантастика из «Сказки...» переплеталась с обыденным, не то сама жизнь вывернулась анекдотом о «Зияющих вершинах».

И наш кораблестроитель, позабавившись КГБовскими акробатами – это они думают, будто я под колпаком – начинает новую большую постройку под именем «Последняя империя».

– Я работаю просто и легко, – рассказывал он при встрече, – чайничек стоит на водяной бане и ждет пока я напишу, да подремлю, а потом вскочу, отхлебну горяченького бальзама, и в упор к бумаге...

« – Обратите ваше августейшее внимание на масштабы проводимого мероприятия: нужно арестовывать всех рыжих – раз, их родственников, как полурыжих, до четвертого колена включительно – два, их друзей и единомышленников, как зараженных рыжим духом, – три, друзей их друзей и родственников этих последних, чтобы выжечь даже почву, зараженную ядовитыми семенами, – четыре. Кроме того, ведется большая работа по выявлению скрытых рыжих...»

Повествование «Последней империи» разворачивается стремительно и узнаваемо: муравейник свергнутых монархов в вертепе, где персонажи европейской истории истекают клюквенным соком, творя казни, отменяя электричество, меняя вывески...

Рыжие превращаются в брюнетов, казненные оживают, электрогильотина воплощает прогресс, история тасует вывески и сдает крапленые карты... Демократия подхватывает их и вертеп превращает в казино, не ведая разницы.

Грустно и страшновато заглянуть в этот колодец истории.





В давние-давние времена был мне сон, будто в моей стране учредили национальный праздник «День Проснувшейся Совести», назначив его на 25 августа. Причиной на то была явь, праздничная и одновременно, как бывает только у нас, постыдная...

В этот день 1968 года стало известно о вторжении большевистских танков в Чехословакию и эта оккупация продлилась на 20 лет. Но в этот же день семеро граждан моей страны, семеро честных, благородных и свободных граждан, посмели выйти с протестом на Красную площадь и возле Лобного места, этого средоточия государственного зла, они развернули плакат, а на нем было на русском и чешском написано: «За вашу и нашу свободу!». Среди них была хрупкая женщина с детской коляской, в которой спал ее четырехмесячный сынок Иосиф. Ее имя – Наталья Горбаневская. Через несколько минут со всей площади сбежались особисты в штатском и началось избиение демонстрантов. После ареста был суд, лагерные сроки, а для Натальи Евгеньевны – два года в тюремной психиатрической больнице.

Но эти несколько минут Проснувшейся Совести остались в истории, хоть и не изменили ее неповоротливый ход. 25 августа уже 2013 года в память о событии 45-летней давности Наталья Горбаневская и Павел Литвинов и еще 10 человек с ними пришли к Лобному месту с тем же плакатом... И снова через несколько минут полиция арестовала их. Вот уж, «нести пророков в своем отечестве!».

Сны же, давно известно, если и сбываются, то только наполовину, и вместо обещанного праздника я получил другой – Праздник Поэзии, который учредила своими стихами Наталья Горбаневская, эмигрировав в Париж, где обрела свой круг вольномыслия.

Она писала в той степени, в какой птица поет, но писала жестко, рьяно, всесильно, уподобившись полководью русской речи в поисках своего русла... Была же маленькой, хрупкой, тонкоголовой и незаметной.

Вошла неслышно в кабинет с ворохом исписанных бумаг в руке, будто впорхнула, остановилась... Редактор "Русской Мысли", спохватившись, представила ее: – Познакомьтесь... Это Наташа Горбаневская." Меня подбросило со стула – был наслышан и начитан, но представлял ее по стихам могучей и властной женщиной, а была передо мной девочка преклонных лет... И совсем приветливо пригласила в гости...

На другой день я едва нашел в парижских лабиринтах улицу Гей-Люссака, ее дверь, за которой уютно и растрепанно жили книги и рукописи, рукописи и книги. Наталья после долгих поисков собрала коллекцию своих изданий и взялась их подписывать, приговаривая: – Немногие книги Вам, – остальное Иркутску.

Эти крохотные книжки стихов, изданные по-нищенски, как и подобает поэту, теперь хранятся в моей домашней библиотеке среди фотографических фолиантов.

Но голос ее умолк. А еще вчера слагались строки...

"Генеалогичное древо поэзии тряс листопад,
тишайшая Анна Андреевна кидалась в морозные дровни,
и рухал под лед Летний сад.

Гелиоцентричный Коперник валился с овальных орбит
и, в звездный закутавшись пыльник, крошился,
как торунский перник, под вяземский пряник обрит.
Что мне!

и без благословенья, и без благодати,
и без открывшегося откровенья
рублю я на рифмы поленья,
и щепки срastaются в лес."

P.S. К моему сожалению, автор фото неизвестен, но портрет замечательный!

Только в конце жизни Елену Викторовну Жилкину стали приглашать в писательские президиумы, долгие годы собратья по перу ее избегали. Попав однажды в «черные списки», Елена Викторовна испытала на себе всю горечь остракизма, изменчивость судьбы и мелкие нравы литературного сообщества...

После известного партийного постановления 1946 года, порицавшего А.А.Ахматову, советская литература переполнилась зудом. Стали искать своих ахматовых едва ли не в каждом городе. Нашли таковую и в Иркутске – на эту горькую должность назначили Елену Викторовну Жилкину.

Кто в этом постарался, тот остался неизвестным, понятно только, что не обошлось без одобрения тогдашнего секретаря иркутского совписа И.И. Молчанова-Сибирского, чьи стихи были зачем-то переведены только на чувашский язык. Сильные, здоровые, крепкие мужики, увешанные писательскими регалиями, перестали даже здороваться, негодуя на сомнительное происхождение поэтессы. Елена Викторовна их милостью потеряла работу, ей было отказано в новой квартире, мгновенно стала изгоем. Литература же восседала в президиумах и в приемных партийных бонз, строчила доносы, а в перерывах славословила власть... Писательские нравы не меняются даже при смене власти.

Из долгого забвения Елена Викторовна вышла только в 1958 году по странному совпадению с датой смерти И.И.Молчанова-Сибирского. В этот год вышла ее книга стихов «Сердце не забывает». Книга была посвящена не гонителям, трусливым и беспощадным, а Байкалу, детству в Листвянке, зимовью художника Леви...

«...Благодарю его за отданные крохи
Печного немудрящего тепла,
За шорохи, похожие на вздохи,
Которые услышать я могла
За глухотой тайги, нависшей надо мною,
В беззвездной, настороженной ночи...»

Такими же простотой и благородством отмечены все стихи, вышедшие из-под ее пера, сердце не забывает только настоящее и живое, а погибельное и мнимое осыпается мимо... «Елена Викторовна, мы все вылетели из Вашего рукава!» – говорил не раз Александр Вампилов в ответ на ее душевное тепло.

Спокойно и стоически, как русской поэзии и подобает, она пережила «Ахматовскую метку» и расцвела новыми стихами, что приходили к читателю всякий год. Вексель «ахматовки», выданный властями, сполна оплачен.

Не угасая, светится оконце,
В нем уместилась сказка о добре
Здесь хорошо мечтается о солнце
В неистово морозном январе.
Не миновать в лесу тропы случайной,
Но долго-долго будет звать меня
То зимовье, где мужество молчанья
И бескорыстие нежного огня.





Борис Архипкин в прежней жизни был поэтом милостию Божией. Судьбой дано было творить стихи, носить их в себе в избытке и, перебегая из дома в дом, – а он везде был желанен – без умолку до утра читать их. Это была певчая птичья жизнь, где вся поэзия на устах, жажда которых утоляется знамо чем...

«Вода не утоляет жажды, – я помню, пил ее однажды», – вторил Боря другому поэту и тут же добавлял переиначенное: «Алкоголизм! Хотя имя дико, но мне ласкает слух оно». Он не тщился истребить алкоголь на Земле, а легко и естественно вкушал его, как поэтическую материю, празднуя в себе стихию Пушкина при каждой поднятой рюмке: «Пьяной влагою Фалерна чашу мне наполни, мальчик...»

Случилось потрясение, когда в 1972 году умер Пикассо. Мы, посвященные чуть-чуть и очень издалека в европейскую культуру, переживали это, как утрату чего-то родного до боли. Борис тогда написал гениальнейшие строки. Вот они.

ПАМЯТИ ПИКАССО.

«Губы, зубы, стакан, алкоголики...
Я хочу, чтобы рядом мой дом был.
Шизофреник, рисующий голубя
На обугленном фантике бомбы.»

В иркутскую поэзию он влетел, как в забытую кем-то форточку. В ее заполошном доме кружился фимиам комплиментов и дым разлада, – птицу заметили, но не нашли чем одарить.

А он и не ждал даров, приговаривая: «И уеду на скрипке трамвая, остановку свою пропустив». Конечная остановка трамвая оказалась на иркутском телевидении, где Боря долгие года зарабатывал на жизнь «кабельмейстером» (он сам назвал), то есть, таскал длинный тяжелый кабель вслед за павильонной телекамерой. Однажды случилось, что его уволили за пьянку. Боря блистательно вышел из положения, написав такую объяснительную своего проступка. «Сегодня утром, как всегда полный творческих сил, я с радостью отправился на работу. По пути я купил свежий номер газеты «Советская молодежь», раскрыл его по дороге и обнаружил на третьей полосе подборку портретов работы Александра Князева, где рядом с портретом Далай-ламы стоял мой портрет. От увиденного я испытал стресс. Чтоб избавиться от него и восстановить рабочий настрой мне пришлось купить водки и неумеренно ее употребить.» К написанному был приложен номер газеты. Говорят, начальник написал такую резолюцию: «в связи с присутствием Далай-ламы объявить Архипкину выговор».

Назавтра Боря явился в гости с привычной бутылкой «Стрелецкой», был такой невыносимый и убойный напиток, где на этикетке был нарисован «мужик с топором». Бутылка и напиток, нашими стараниями в том числе, канули в Лету, а вот этикетка воскресла недавно. Хотя это совсем другая история, она не менее интересна. Придя на Нижнюю Набережную однажды, я оторопел – памятник Похабову смотрел на меня с бутылки «Стрелецкой», причем один к одному, и я был трезв.

Молчаливая осень,
Твой тих и печален пейзаж.
Так полна ты дождями
И теплою тяжестью хлеба,
Так роскошно скользит
По лесам золотой карандаш,
Так сиротски сквозит
Меж ветвями убогое небо.

Из столетья в столетье
Костры твои жадно горят,
Из минуты в минуту
Весна из тебя убывает,
Да еще этот ветер,
Свершая извечный обряд,
Словно тайные книги,
Прозрачные рощи листает.

Читать бы не перечитать написанные Любой Сухаревской строки. Ее слово легко, празднично, весело, подобно спелому яблоку, готовому прилететь прямо в темечко. Но кто б только ведал, как эта гармония рождалась из вечного разлада с миром, что был задуман иным, а мы нашли его дремучим и убогим и стоило долго пожить, чтоб отречься от его сует и понять, что покой и воля достижимы в любое царствие и достижение это равно подвигу, что именуется поэзией. «Молчаливая осень» строга и сосредоточенна, как всякая непостижимая загадка, она не липнет в поисках пощады или искупления, – гармония в том не нуждается, ежели дается однократно и необратимо. Да и сама жизнь дана точно так же. Однажды и вдруг. Обрывается, оставляя загадку, которую привычно именуем Судьбой, охотно отсылая ей все недосказанное. Однако, есть неумолимое искушение родным словом, жажда по которому неутолима, а высказывание его бесконечно, – земные лета не утолят! Наверно, это единственный способ существования в истине, которым Любовь Иосифовна владела от природы, – любое речение ее стиха приводит в суть, что дрожит и вибрирует от сказанности подобно драгоценной арфе. Отсюда ненасытность бытия, неисполнимая жажда работы, перед которыми частная жизнь растворяется уже в чашке утреннего кофе, после которого все бегом! Не добежала... Боль схватила крепко. Но она оставалась у всех на виду, бодрой, уверенной и светлой. Никто и представить не смел, что свет этот уйдет через мгновения, но не угаснет, а пуще того засияет в кристалле ее стихов. Так случилось.

Дерево мое, дерево, ветхая твоя голова!
Стою под деревом, сероглазая и седая.
Дерево надо мной пустое, растерянное.
Душа во мне пустая, растерянная.
Такие мы с тобой осиротевшие,
Будто и меня опалило
Смертельное
Осени дыхание.





Однажды по улицам Иркутска ходил Дин Рид.

Немногие прохожие, увидев живого кумира, останавливались столбами, как бы борясь с наваждением, подойти же и сказать пару слов решались только фарцовщики у “Интуриста”. Но когда он выходил к толпе после концерта, то начиналось столпотворение с визгом девиц, ревом остальной публики и немислимой толчеей за автографом. Не спасала даже обкомовская “Чайка” – ее раскачивали, как колыбель... И все тянули, тянули руки!

Дин Рид был невероятно популярен в стране – на радио и телевидении постоянно звучали его песни, комсомольская пропаганда лепила изысканный образ борца за справедливость; время от времени он сжигал где-нибудь публично американский флаг, ругал в советской прессе Пиночета, обнимался перед телекамерами с Фиделем Кастро или разоблачал в “Правде” Солженицына...

Он и в самом деле прекрасно пел, под стать звезде мирового уровня, но его слушали только здесь. Он свободно ездил по всему миру, вовремя появляясь во всех “горячих точках” мирового коммунизма, но въезд в Штаты ему был заказан. Он сочинял и снимал ковбойские фильмы в ГДР, не ведая того, что больше не вернется домой, в Колорадо.

Итак, Дин Рид на улицах Иркутска в 1980 году. Он приехал на БАМ с концертами. Я ездил вместе с ним две недели, видел его, слышал, снимал, о многом успел поговорить... Мы расстались друзьями и писали письма друг другу несколько лет, пока он не погиб. Когда же это случилось, горести мои были долгими. Его нашли в озере, недалеко от дома под Берлином, с многими ножевыми ранами. Предполагали руку чилийских спецслужб, – он много насолил Пиночету... Недавно его вдова, Эва Киви высказала уверенность, что это была работа «Штази».

В конце шестидесятых годов западные демократии сотрясали молодежные бунты, особенно в Штатах и во Франции. Левые молодежные движения исповедовали Христа, Мао, Троцкого, Гевару, Сталина, Кастро... Все они слились в неразбериху бунтов и политической толкотни, но со своей собственной песенной традицией, которая шла от Боба Дилана, Вуди Гатри, Пита Сигера и надолго получила имя «песни протеста». Дин Рид со своим голосом и гитарой оказывается в этом движении явно не последним. После успокоения в Штатах оно откатывается в Латинскую Америку: Чили, Сальвадор, Никарагуа уже вкушают борьбу за социализм по кубинскому рецепту. Дин Рид теперь поет на стадионах Сантьяго, среди его друзей: президент Альенде, знаменитый поэт Пабло Неруда, народный певец Виктор Хара, не говоря уже о Фиделе Кастро. И когда происходит военный переворот Пиночета в Чили, в кровавой бойне которого гибнут трое его лучших друзей, судьба не оставляет ему выбора: жить только вслед за ними. И честный ковбойский парень живет по этому выбору: вместе с чилийскими эмигрантами он перебирается в ГДР, чтобы организовать сопротивление диктатуре. Помочь же им могли только «кремлевские специалисты». Тут-то его и «купили». Он сразу стал «посланцем

мира» и «голосом протеста». Оставалось его идеологически раскрутить. Что и вышло.

Зал в Иркутске гремел аплодисментами – первых песен уже было достаточно. Дин Рид спускался со сцены, ходил среди публики, ему подпевали, с ним охотно общались. Его внимание привлек человек в пятом ряду, который был важен, велик, а крупная лысая голова излучала сияние... «Ты большой и сильный, – обратился к нему Дин Рид, – скажи, как тебя зовут?» Человек недовольно и выразительно прокашлялся, зал в изумлении замолк, а мальчики из комсомола затрепетали в панике: то был первый секретарь Иркутского обкома партии Николай Васильевич Банников. «Наверное, ты здесь самый сильный...» – снял напряжение певец, так и не получив ответа, и запел следующую песню.

А через несколько дней Дин Рид получил приглашение к обеду в загородный дом к Банникову. Нас привезли в «Дом рыбака». Понятно, – водка, пельмени, икра с блинами – сидим, обедаем... Дин Рид спрашивает: «Я построил своими руками дом под Берлином, в котором живу сейчас, но он намного меньше... Николай, скажи, а ты участвовал в строительстве этого дома?!» Вилки замерли над столом, рюмки покачнулись. «Да, – ответил Банников, – я подписывал решение бюро обкома об этом строительстве...» Его собеседник просиял ковбойской улыбкой до затылка, только глаза искрились мальчишеским озорством – он многое уже понимал и видел в стране Номенклатурии. Но Банников, тоже не промах, тут же перевел на другую тему и стал рассказывать о своих певческих дарованиях и, к изумлению застолья, хорошо поставленным драматическим тенором затянул до звона люстры: «Сижу за решеткой в темнице сырой...», назвав это любимой песней большевиков. Переводчик тут же шепотом сообщил гостю текст. Я же впервые задумался над злоеющим смыслом песенной строки: «Мой верный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет за окном». Вот уж точно – партийный гимн.

Он все еще оставался мальчишкой, одуренным революционной романтикой. В Улан-Удэ вышли ночью из гостиницы – за нами тут же увязался милицейский автомобиль; повернули в другую сторону – тот за нами... Тут Дин Рид предложил: «Мой друг Фидель Кастро очень любит убегать от личной охраны... Давай попробуем». Я знал тот город как свою ладонь, мы юркнули в темный проулок, перепрыгнули через забор, прошли заброшенной стройкой, пересекли пустырь, который заканчивался забором, перемахнули через него и увидели перед собой двух патрульных, что отдавали нам честь. Дин Рид, расхохотавшись, подарил им свои фотографии.

Когда прощались у самолета, кто-то привез в подарок изюбровые рога метра под полтора в размахе, Дин Рид растерялся, но тут же примерил ко лбу и хохотнул: «Такого мне еще не дарили...» и попробовал было вернуть... Рога с трудом внесли в самолет вслед за ним.

Мы попрощались. И вышло, что навсегда.



«Дания - тюрьма!» - сказал Шекспир от имени Гамлета...

Усомнившись, я заглянул на сайт Международного центра тюремных исследований и оказалось, что в Дании тюрьмы содержат 4 тысячи заключенных. А в государстве Лихтенштейн всего 10 заключенных. И всего-то... 29 человек на каждые 100000 населения.

В нашем родном отечестве в узилище находятся 611 человек из каждых 100000 жителей, а количество узников в 2006 году было 869000. Но мы не достигли первенства: США держит в тюрьмах более 2 млн. человек, а Китай - 1,5 миллиона. «Великолепная» тройка, США, Китай и Россия содержит в своих тюрьмах половину зэков человечества.

Эта статистика, как и всякая иная, не содержит ответов на большие вопросы, но, понятно, сама вопрошает насчет гуманизма цивилизации, национальной совести и законности наказаний, одновременно свидетельствуя о криминализации общества.

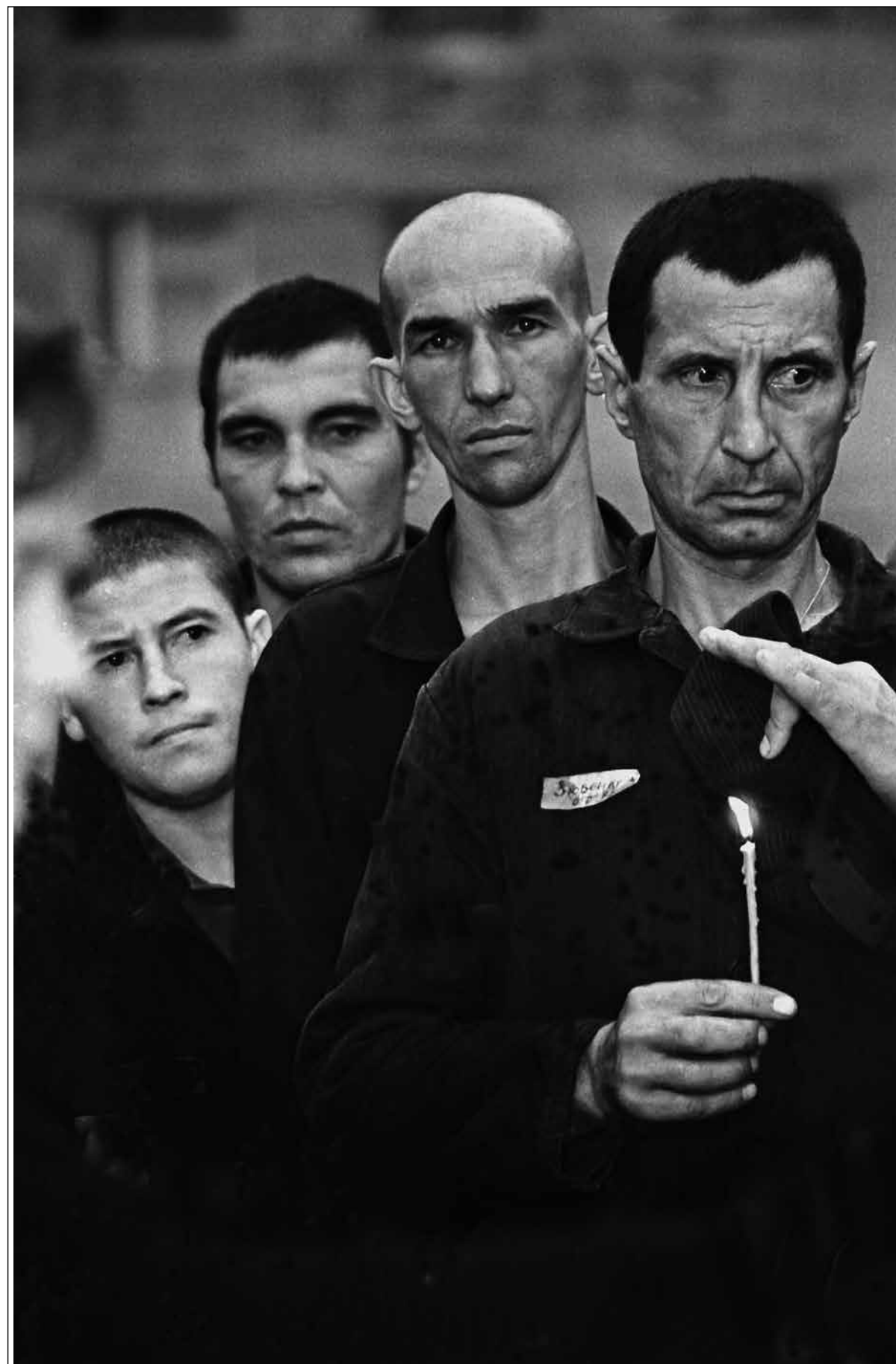
Для XXI века есть чем печалиться...

Но кто не помнит самую популярную в России народную присказку: «От тюрьмы, да от сумы не зарекайся!» Многие века бессудных наказаний и вообще кривосудия смирили мой народ с несправедливостью, что правит миром, а в тюрьме царит и подавно... Может потому отверженные от общества люди находили в миру живое сочувствие и помощь от души, как всегда было в России. Только отъявленные злыдни и тати изгонялись прочь.

Переступив однажды затворы зоны и пообщавшись с зэками, а все они разговаривали с особой охотой, я не нашел там злодеев. Даже в зоне строгого режима. Все они, если верить их же легендам, «сидели не за что», только в разбросе от неумышленного убийства до автоаварии с последствиями. Все они накануне моего прихода построили себе церковь и батюшка отец Андрей освящал ее при мне.

Мне же оставалось снимать и, признаться, столь необычной картины я не видел прежде в видеоискателе: их лица, жестко меченые узилищем не сходили к умилению, не ждали благодати, что сойдет после покаяния, а, застыв над свечой, скорбели о свободе и о ней молили...

Возвращаясь домой мы с о. Андреем сидели рядом в машине и всю дорогу молчали. Надеюсь об одном и том же. Уже не вспоминая Шекспира.





Оруэлл для меня начинался с Карла Маркса, когда в университете волей-неволей пришлось прочесть его работу «Критика готской программы». Разбираясь в провале Парижской коммуны, этот умник досадует об отсутствии «диктатуры пролетариата» и уверенно формулирует необходимость террора. Я перечитал еще раз, был изумлен и, придя на экзамен, дословно цитировал основоположника, чем весьма раздражал «класную даму», Чтоб спасни ее неначитанность, я при каждой цитате открывал книгу с закладкой и клал перед ней... Теперь уже не знаю, зачем это надо было мне, верно, хотелось поделиться кровавыми истоками. А, между тем, диктатура КПСС уже поражала тлетворностью - прямизна их мышления в меняющемся мире была пропитана глупостью и насилием одновременно, а меня судьба сподобила впасть в идеологическую службу, чем тогда и была журналистика. Идеологическая модель была так же непритязательна: единообразие (бороды не носить!) - вовремя донести на коллегу - повторить прилежно очередную глупость генсека... Иначе ты выпадал с волчьим билетом из партийного обихода, после чего уходил в кочегары, дворники или, если повезет, - в фотографии.

«Властители умов» властвовали двулично, подобно сказочному зверю: Николай Васильевич Банников, первый секретарь Иркутского обкома КПСС, да Евстафий Никитович Антипин, секретарь по идеологии, Исправно несли чушь с трибун, с особым вожделием милости рассыпали или отлучали без сожаления, когда на каждый случай вольномыслия находилась одна и та же «принципиальная партийная оценка». А вслед за ней - неусыпное внимание КГБ к твоей персоне, включая все «профилактические мероприятия». Потому с пеной на губах их журналистика воспевала сельское хозяйство, что не могло страну накормить, трубила о комсомольских стройках, которые успешно скончались еще до исхода века или нарекала сами себя «самой читающей страной», когда лучшая литература была под запретом, а нечаянно изданное изымалось из библиотек. «Когда в Иркутске вышла книга Вампилова «Дом окнами в поле», тот же Антипин разносил газету, сказавшую о ней похвальные слова и кричал в гневе: «да и самой этой книге надо дать принципиальную партийную оценку», так вспоминает журналист Арнольд Харитонов .

Ложь, сопряженная с насилием, хоть после Сталина, уже латентным, плодили только подобие себя в неожиданно большой прогрессии. Коммунисты были энергичны и вездесущи, как сперматозоиды проникали всюду. Жизнь замирала под их властью, поскольку диктатура не оставляет выбора никому, а предполагает «единодушие» - «души прекрасные порывы! Души!»- так говорил не Пушкин и не Заратустра, так говорил Андропов, министр КГБ.

Они шельмовали историю собственной страны, они регулярно нагибали церковь, терзая верующих людей тюрьмой и «психушкой», они приказывали расстреливать мирные демонстрации в Новочеркасске, они устроили экоцид на Байкале, превратив его в водоем для Ангарских ГЭС, нужных теперь только Дерипаске... Миру, кажется неизвестны те преступления, что не могли совершить коммунисты

во имя «светлого будущего».

Учинив своевластие подобно банде воров, они на исходе 70 лет открыли возможности театра абсурда, домыслив свое учение публичным бредом, когда в каждом городе на самом видном месте красовался памятник вождю и пахану с вытянутой рукой в форме виселицы. Но и они не сравнятся с отсеченной головой огромного размера, что воздвигли бурятские коммунисты: припоминаю, как на огромной платформе военный тягач вез по центральной улице чугунное УХО Ильича. Мало того, жизнь была увенчала мудростью от КПСС «Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи», на что один известный литератор ответил: «Зачем нам ум, совесть и честь, если родная партия есть???» И уж куда смешнее, ежели на казарме артиллерийского училища в Питере появляется лозунг «Наша цель - коммунизм!»

Комедия ужасов, затеянная в 1917, выпустила перед занавесом в 1991 четверку пьяных и растерянных маргиналов от КПСС...

Когда же теперь, уже в наши дни, на Рождество и Пасху те же самые люди, что не успели вовремя потерять свои партбилеты, торчат поблизости от патриарха и чинно держат свечки (за что и прозваны народом «подсвечниками») и вспоминают текст анафемы патриарха Тихона, что был изуверски погублен большевиками в 1925 году:

*«...то, что творите вы, не только жестокое дело: это - поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенны в жизни будущей - загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей - земной. **Властям, данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафемствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение.»***

Послание патриарха Тихона 19 января 1918 г.

Смирный Тихон, Божеею милостию Патриарх Московский и всея России, возлюбленным о Господе пастырям, архипастырям и всем верным чадам Православной церкви Российской.

«Да избавит нас Господь от настоящего века лукавого (Гал.,1,4).»



Надежда Васильевна Куликаускаене жила среди книг, в книгах, во имя книг. Не случайно ее портрет, снятый мной еще в студенческие времена, переполнен книгами, – я угадал состав ее жизни. Я пришел безвестно в отдел рукописей и редких книг нашей университетской «фундочки», поднялся с благоговейным страхом на самый верх Белого дома, где меня, как желанного гостя, встретила Надежда Васильевна, повела в сокровищницу и книгу за книгой доставала с полок, позволяла снимать древние фолианты из библиотеки М.С.Лунина, не уставая рассказывать о судьбах книг. Тогда я впервые узнал о подвижнической жизни Нита Степановича Романова, скромного библиотечного служащего, что без устали всю жизнь слагал летопись Иркутска... Даже оказавшись в книжной стихии наедине с Надеждой Васильевной, я предположить не смел, что ее упоминание Нита Степановича не было случайной оговоркой, – вся ее дальнейшая жизнь сомкнется с судьбой великого и безвестного до поры летописца и книжника, ему будет посвящена и завершится книгой его имени.

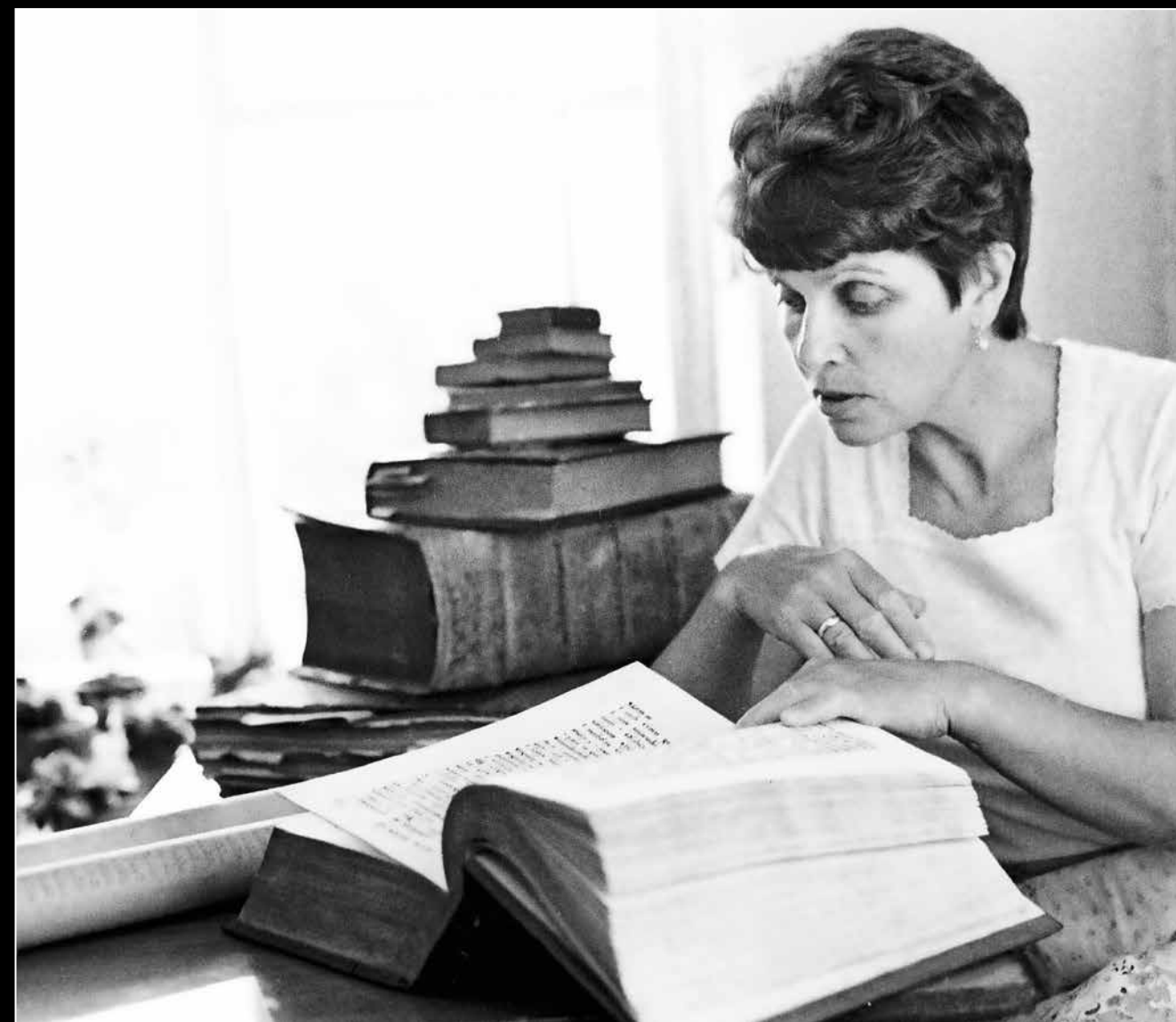
«Личная жизнь заключалась в книге. Я... никуда, кроме губернской управы, церковей и книжных магазинов да переплетной, не выходил. Не посещал ни театра, ни концертов, ничего. Для меня ничего не существовало, кроме библиотеки и книг, где я всегда находил себе работу.» – писал в своем дневнике Н.С., не упоминая о вечной нужде, усталости и горьком времени 30-х годов... и умолчав о щедром даре завещанной городским библиотекам собственной коллекции из 7 000 книг.

Вероятно, существует некий закон сохранения и умножения духовной энергии, согласно которому подвижнический труд одной личности непременно найдет продолжателя в следующем поколении. «Истина пути», – так назван он в буддистской традиции, а все, что имеет имя – уже существует.

«Истиной пути» Надежды Васильевны стала история книжной культуры Иркутска и судьба трудов Нита Степановича Романова. Свыше было угодно оказаться после университета в тех же стенах, где работал Нит Степанович, увидеть его рукописи, а это больше тысячи страниц выцветающего карандашного письма, – еще немного лет и его следы растают... и целая эпоха уйдет в беспмятство. Расшифровать тексты, прочесть, переписать, сверить с другими источниками, исправить неточности, собрать в книжное единство – кропотливая многолетняя работа, немислимая без полного погружения в жизненное пространство автора.

Как на такое решиться?! Достанет ли жизненных сил?! Хватит ли отпущенных земных лет?! Совсем не праздные вопросы, если над тобой завис недуг, да такой, что свой завтрашний день не раглядеть...И Надежда Васильевна спасается, затворив себя в работе наедине с рукописями. Явилась уверенность, что болезнь может одолеть кого-угодно, но не одолеет работы, – только полновесная на всю оставшуюся жизнь и безжалостная работа остановит недуг.

Так и оказалось. Книга летописи Нита Степановича Романова, возрожденная и полностью подготовленная к печати, осталась на письменном столе Надежды Васильевны. Скоро она выйдет из печати стараниями Арвидаса Антоновича Куликаускаса, – он разделит с Надеждой Васильевной дело ее жизни.





Лев Петрович Перминов, так мне кажется теперь, был в нашей жизни везде, легко было, пересякшись на Большой, переговорить о церковных новостях, проходя парком, застать его с белочками, а, заглянув в «Молодежку», остаться с ним у бильярдного стола до первого проигрыша... Как и подобает несомненному журналисту, был он вездесущ, всюду желанен, при появлении встречен с поклоном. Волшебные позывные иркутского радио «...репортаж вел Лев Перминов» остались в сознании нескольких поколений, но Лев Петрович был не у дел, высказав однажды начальству свои разужения.

Только он один в кругу прессы имел безукоризненную пушкинскую речь, хорошо поставленный голос и великолепную дикцию, только он комментировал футбольные матчи на уровне столичных звезд... Виктор Озеров мог и отдохнуть. Таких мастеров на иркутском радио не было до него, не будет и после... А с ним расстались по произволу начальников из за того только, что мастер был трудно управляем. Им бы, дуракам, помнить, что перед ними Победитель, он брал Берлин, на его лейтенантской гимнастерке три Красных Звезды и самая дорогая ему медаль За Отвагу... Однако ж собственная блажь дороже, - такое было времечко, когда радионачальник жил, по его же словам, «под мандокловым мечом», а мнил себя вершителем судеб.

Стоит сказать, что и прежде Лев Петрович дураков не жаловал... Его аристократизм в манерах, одежде, речи нас восхищал и надоумливал - не доросли... а энциклопедичность его знаний, его интеллигентная чуткость прорастала в нас юношеской досадой - не преуспели. Он был настолько самодостаточен и велик, что дураков мог и сторониться. Отрешившись, но не распрощавшись с радио, он продолжал жизнь вольного странника в поиске добрых дел, коих нашлось немало.

Городской парк в ту пору был запущен, сиротлив и не мил горожанам. Лев Петрович расселил там белок, каждый божий день кормил и ласкал их - расплодились белки, наполнили парк жизнью и приветливо сбегались на голос Льва Петровича, кормились с руки. Постепенно Лев Петрович приучил своих белок кормиться и с детских рук. Мне довелось это видеть и даже успеть заметить в детских глазах ни с чем не сравнимую радость: словно не они белок орешками угощали, а белки с попечения Льва Петровича несли детям счастье. «Вот вам и теория малых дел!» - подумалось мне - сколько светлых душ выросло.»

Лев Петрович жил заметно и был незаменим... Ушел незаметно и тихо, словно рассеялся своей незаменимостью в этом мире. Но мир оказался не готов, - иные семена взошли, бурно и нетерпеливо, как сорняки. Посредственность и корысть теперь шагают в ногу «сомкнутыми рядами железных батальнов пролетариата». «ПрофиТРОЛЛЬ», симбиоз историка КПСС с выжившими вертухаями, до краев заполнил виртуальную клетку интернета и готов к «оказанию услуг» за умеренную плату. Смесь невежества и агрессивности теперь зовется «креативом», а хулиганистый национал-большевик избирается в поэты, бесприютные девушки, возмнившие себя «кураторами», учиняют выставки в темноте, журналистика в сервильности своей опустилась до уровня «второй древнейшей»... Что и предрекал Андрей Вознесенский: « На художнике надпись - Сука, у собаки кличка - Наука и Прогресс - на средневековьи...»

Отчаявшись в переменах, но не отчаявшись в себе, мы продолжаем ту жизнь, в которой можно было в любой момент обрадоваться встрече со Львом Петровичем и ощутить крепкое рукопожатие Победителя. Пусть прорастет хотя бы в нас.

Иркутский художественный музей однажды во всеуслышанье был почему-то назван «сибирским Эрмитажем».

У этого «почему» есть имя: Алексей Дементьевич Фатьянов.

Он был музееведом такого уровня, что под стать только Эрмитажу. 30 лет его директорства оказались годами роста и процветания музея, его взросления от провинциального собрания картин до крупнейшего в Сибири художественного и исследовательского центра изобразительной культуры. В не самое благополучное советское время ему удавалось все: от собирания шедевров для музея по всей стране до небывалых по смелости выставочных проектов и регулярного издания книг, что занимали самые видные места на полках домашних библиотек. Мне памятна по сей день выставка Алексея Жибинова, а книга «Судьба Сокровищ» прочитана много раз и видана в каждом иркутском доме.

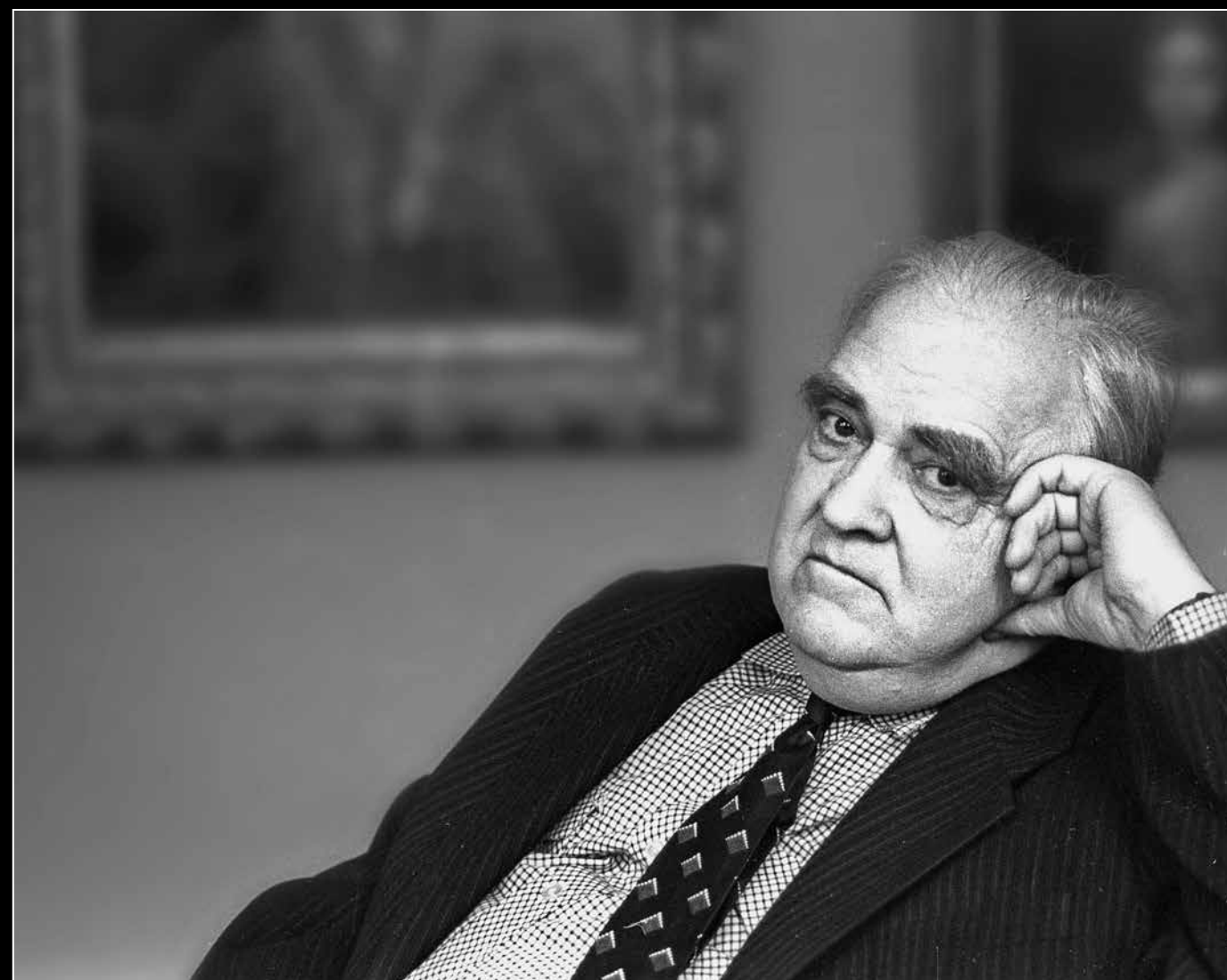
Именно в бытность Алексея Дементьевича художественный музей торжественно и справедливо расселился на двух главных улицах города, а судьба усадьбы Сукачева, заброшенной и затерянной, решилась с его заботливого внимания. Он обладал редкой художественной интуицией, утонченным вкусом и невероятной широтой интересов, в которой передвижники уютно уживались с авангардистами.

Припомню, как в 1973 году я прибежал на только что открытую выставку Алексея Петровича Жибинова, непризнанного и затравленного иркутского гения, которого Фатьянов решился выставить впервые, и выплеснул свой восторг Алексею Дементьевичу, тот подхватил меня легкой рукой ввел заново в экспозицию и долго, сам захлебываясь восхищением, рассказывал о Жибинове, последнем ученике Павла Филонова, другого великого и трагически несломленного художника, посвящая меня попутно в тайну точечного письма «пуантелью». Какой радостной энергией он светился тогда, каким праздником его настроение волнами расходилось по музею!

Тем временем в Москве авангардистов зачищали бульдозерами, Эрнст Неизвестный и Михаил Шемякин покидали страну, отправляясь в эмиграцию... И только здесь, в богом забытой провинции, новая живопись была перед глазами и целое поколение всколыхнулось примером непохожести и непокорности истинной культуры. Вслед за этим поступком Алексея Дементьевича проросла в Иркутске целая плеяда одаренных молодых художников: Коренев, Москвитин, Десяткин, Шпирко, а в художественной среде воцарились внимание, доброе любопытство и толерантность всех со всеми... Создавая музейное пространство большой культуры, Алексей Дементьевич, того не ведая, творил благодатную художественную среду, которая по сей день почитается культурным достоинством города.

Он был подвижен, как ртуть, общителен по пушкинскому критерию, открыт и непритязателен, успевал все делать влет, пренебрегая белым кашне...

Как знать, может как раз Эрмитажу не повезло...



Победа одарила своих солдат достоинством незаметно жить... Эту высокую свободу они оплатили сырыми окопами, тяжелыми атаками, жестокими ранами.

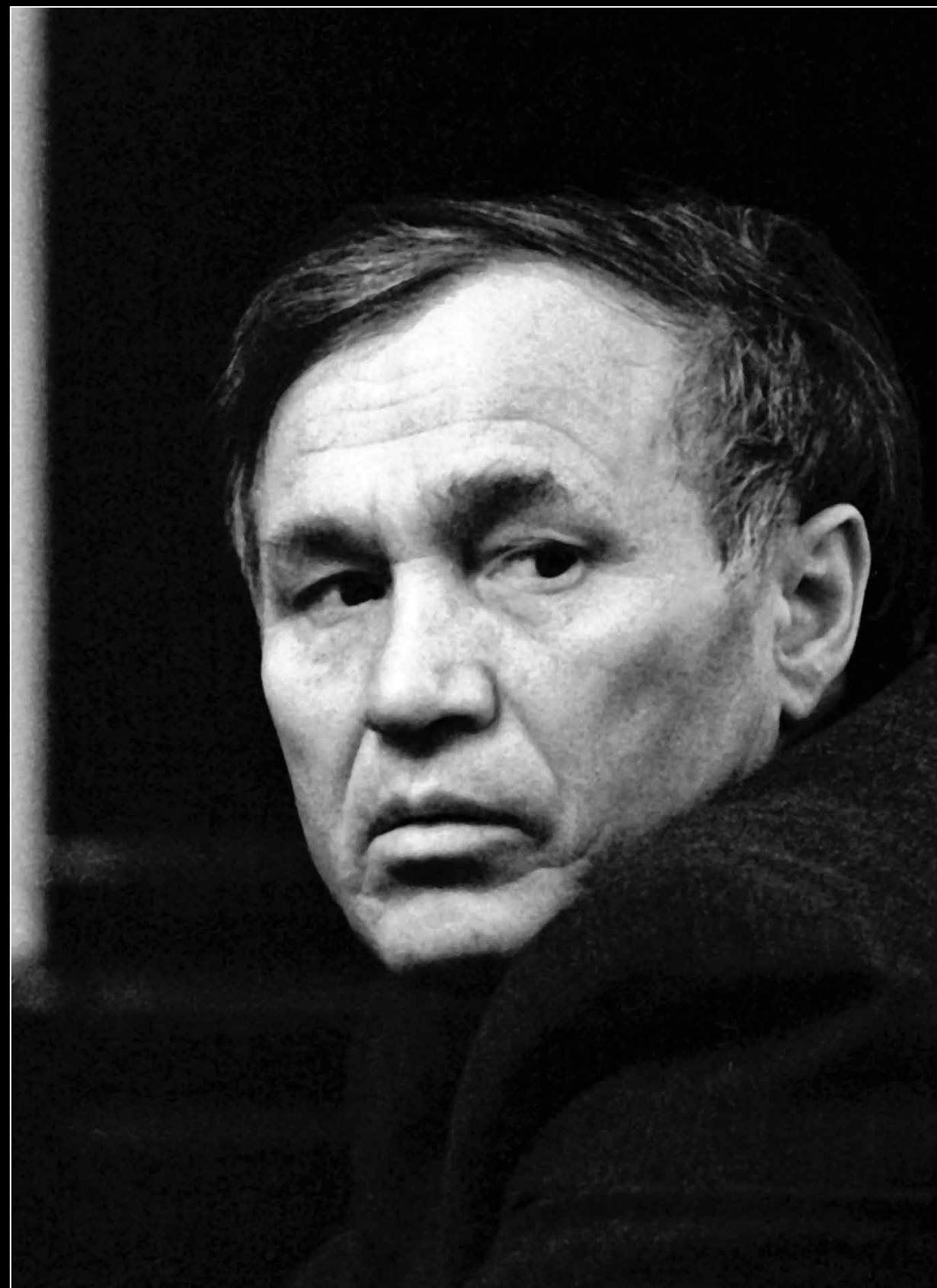
Дмитрий Гаврилович Сергеев, командир стрелкового взвода на той войне, замечательный иркутский литератор, кажется, от природы был честным и неприметным работягой, на которых и держится наше душевное благополучие. Писал прямо и открыто, не кувыряясь словом, поступал по-фронтовому в полный рост, не оглядываясь на «заградотряды».

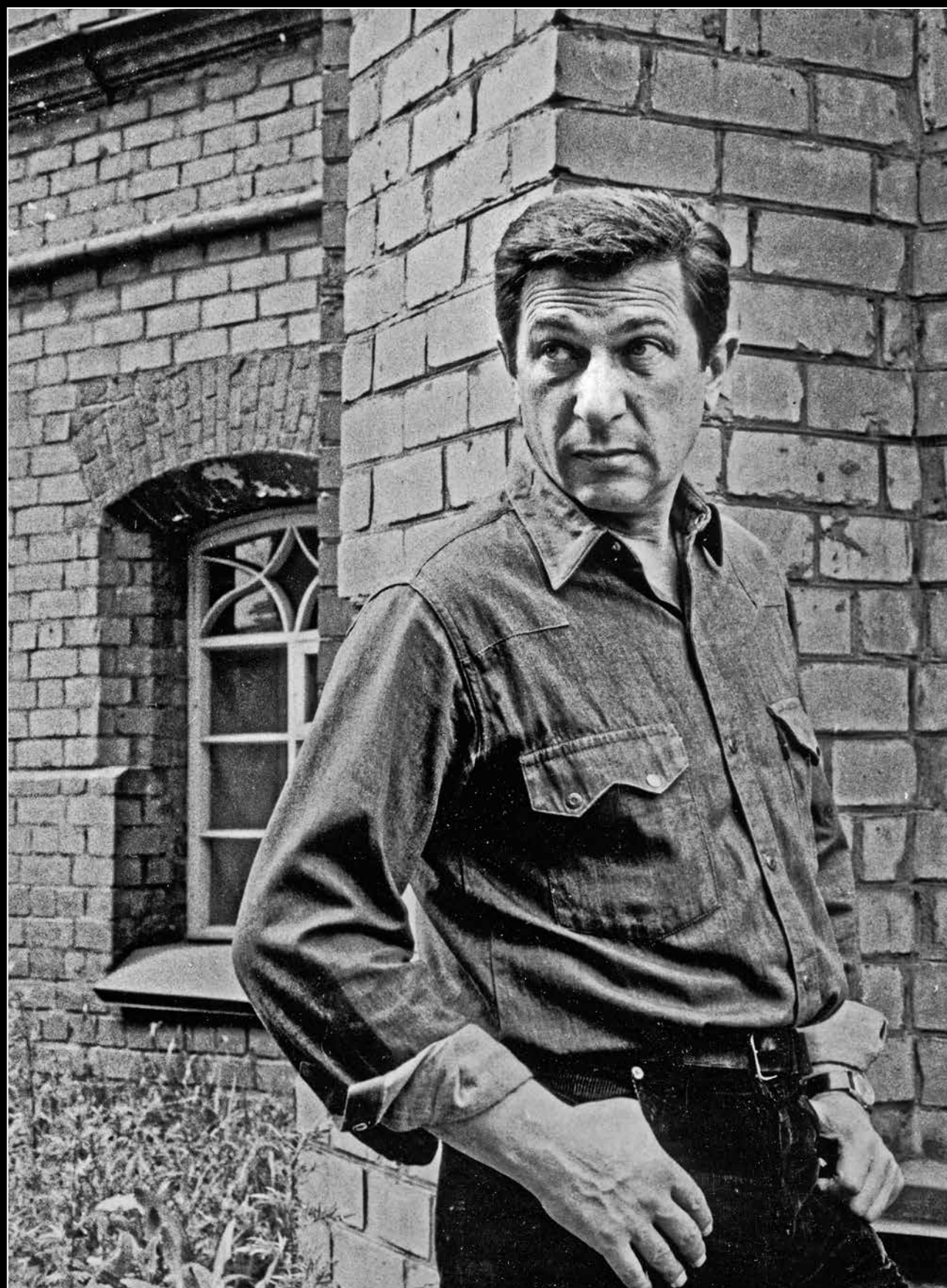
Словом и делом Дмитрий Гаврилович исповедовал кровавую правду войны ровень с В.П.Некрасовым, В.П.Астафьевым, Г.Я.Баклановым, В.С.Кондратьевым... Проза лейтенантов-фронтовиков сменила литературную проповедь соцреализма на литературную исповедь победителей. Эпическая сдержанность и немногословие прозы Дм. Сергеева привлекли литературного гуру того времени Александра Трифоновича Твардовского и уже «Новый мир» публикует рассказ «В сорок втором», а через несколько лет и роман «Запасный полк».

Журнал Александра Трифоновича открывает новые имена в российской словесности и Дмитрий Гаврилович не стал исключением. Только вот столичная слава на сей раз промахнулась, не увенчала провинциального автора. недосуг ему было погреться в золотистых лучах, ему, двадцать лет топтавшему тайгу в геологических партиях...Он уже присиделся за надсадной литературной работой и пишет книгу за книгой, не позволяя себе передыха, словно в тайге на маршруте. В 1969 вышла повесть «Крепость на отшибе», которую он писал и перерабатывал на протяжении многих лет, а в 1971 г. в журнале «Новый мир» была напечатана его автобиографическая повесть «Возвращение» (другое название — «Залито асфальтом»). В 1984 г. вышел роман «Конный двор».

Тем временем страна размеренно строила коммунизм, боролась с инакомыслием, сочиняла идеологические мифы, окутывая собственный народ дурным вымыслом. Нам прививали привычку отвыкать от себя. Ирреальность жизни плодила анекдоты и требовала от литературы идейного величия реализма. Появились писатели-дереаенцики, жаждущие правды заодно со славой, - то и другое они с лихвой получили, клеймя бездуховность города. Дмитрий Гаврилович уходит в фантастическое письмо, сочиняя антиутопию «Завещание каменного века» Герой повести, попав в снежный обвал, очнулся на другой планете. В обществе отдалённого будущего равенство доведено до абсурда: у всех одинаковое жильё, одинаковая искусственная еда. Людям нельзя носить свои лица, все должны выглядеть красивыми, поэтому проводились конкурсы красоты, выбирались самые красивые,копии их лиц голографически распространялись на остальных. Попав в самую сердцевину времени, повесть была удостоена жесткой критики «за безыдейность».И поделом - социалистическая реальность («Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!») была утопична до абсурда.

И солдат писал. Книгу за книгой. Поняли и оценили, как всегда, после...





Юный и свежий в свои 50 лет Игорь Кваша оказался в Иркутске. Мы вместе коротали его гастрольное время, оглядывая деревянный город. Строго и по хозяйски он осматривал усадьбы, дворы, заборы и приговаривал порой: — Какой свободой одарили Сибирь, чтоб так мудро строиться могли... Это — другая страна, где окна друг на друга любят!

Совсем недавно, уходя из жизни, он напишет в своей книге: «Годами советская власть выбивала из людей чувство близости, сочувствия, чувство любви к ближнему. Она не могла этого не делать. Это не то чтобы частность, случайность, это входило в ее сердцевину. Когда вокруг тебя сажают людей, когда повсеместно творятся репрессии, когда это касается миллионов людей, а на собрании сослуживцы боятся защитить друга или приятеля, проголосовать за него, потому что понимают: это может решить и их судьбу, — опускается некая заслонка. Возвращение человеческого в человеке — для меня самое важное. Это входит в понятие «здоровье общества».

Ушел великий актер, что обладал рыцарским нравом. В далеких 60-х он среди немногих подписал письмо в защиту осужденных Даниэля и Синявского, Игорь Владимирович первым подписался в защиту Ходорковского, в августе 91 года трое суток провел на баррикадах у Белого Дома, а совсем недавно в эфире «Эха Москвы» поведал случившийся ему сон: «Такие милые, добрые лица людей, которых мы избрали в Государственную думу... И вдруг вся эта масса людей превращается, как в фильме ужасов, в чудовищных лагерных оскаленных псов, которые бросаются на меня. Я бегу и кричу: SOS! SOS!»

Накануне декабрьских митингов на Болотной площади он записал довольно жесткий видеоролик, где вынес приговор нынешней власти: «За кого вы нас принимаете... за быдло, за стадо бандерлогов, которых можно вести куда угодно и делать что угодно, не таясь и не скрывая своих намерений..? Пора бы остановиться и понять, что сегодня уже другое время.» Не менее решительно Кваша высказался о политике год назад: «Меня както хотели в депутаты затащить. Ответил: «Во-первых, я и в коммунистическую партию не вступал — неужели думаете, что пойду в вашу? А во-вторых, я же буду в Думе орать и скандалить». Агитаторы сразу отстали...».

В блаженные летние дни наших гуляний по городу мы задержались у Ангары.
— Саня, ты плавать умеешь? Ангару переплывешь?!— спросил Игорь.
— Ежели не будет выбора, то может переплыву...
— А вот нас учили плавать в кандалах...

Помолчав у сияющей реки, мы продолжали свой путь.

Давид Боровский был, жил и творил, когда была жива Таганка.

Разумеется театр, а не тюрьма. Он строил его каждым спектаклем вместе с Ю.Любимовым, В.Высоцким, А.Демидовой, З.Славиной, В.Смеховым... Можно перечислить всех, кто был единым телом театра, каждый со своим лицом, нравом, голосом.

«Мы научились штопать паруса и закрывать пробоины телами!» – Владимир Семенович сочинил это к 10-летию Таганки и в песне все про театр сказано. Каждый спектакль Таганки был открытием «и Колумбовым, и Магеланным».

За горизонт ходили вдвоем – за остывший театральный горизонт – Юрий Любимов и Давид Боровский, художник театра. Потом дерзость одного, соединившись с изобретательностью другого, селилась в актерах и прорастала в зрителях безнадежно и навсегда.

Гамлет. Мы входим в зал полутемный и холодный...нагая сцена открыта до кирпичной пожарной стены, под ней кто-то сидит на полу и, настраивая, пробует гитару...Уж, не Высоцкий ли? Точно, он! Пока все рассаживаются, он занят своей нехитрой работой и отделяет его от зрителей только свежерытая могила посреди авансцены, – живая земля на подмостках спирает дыхание.

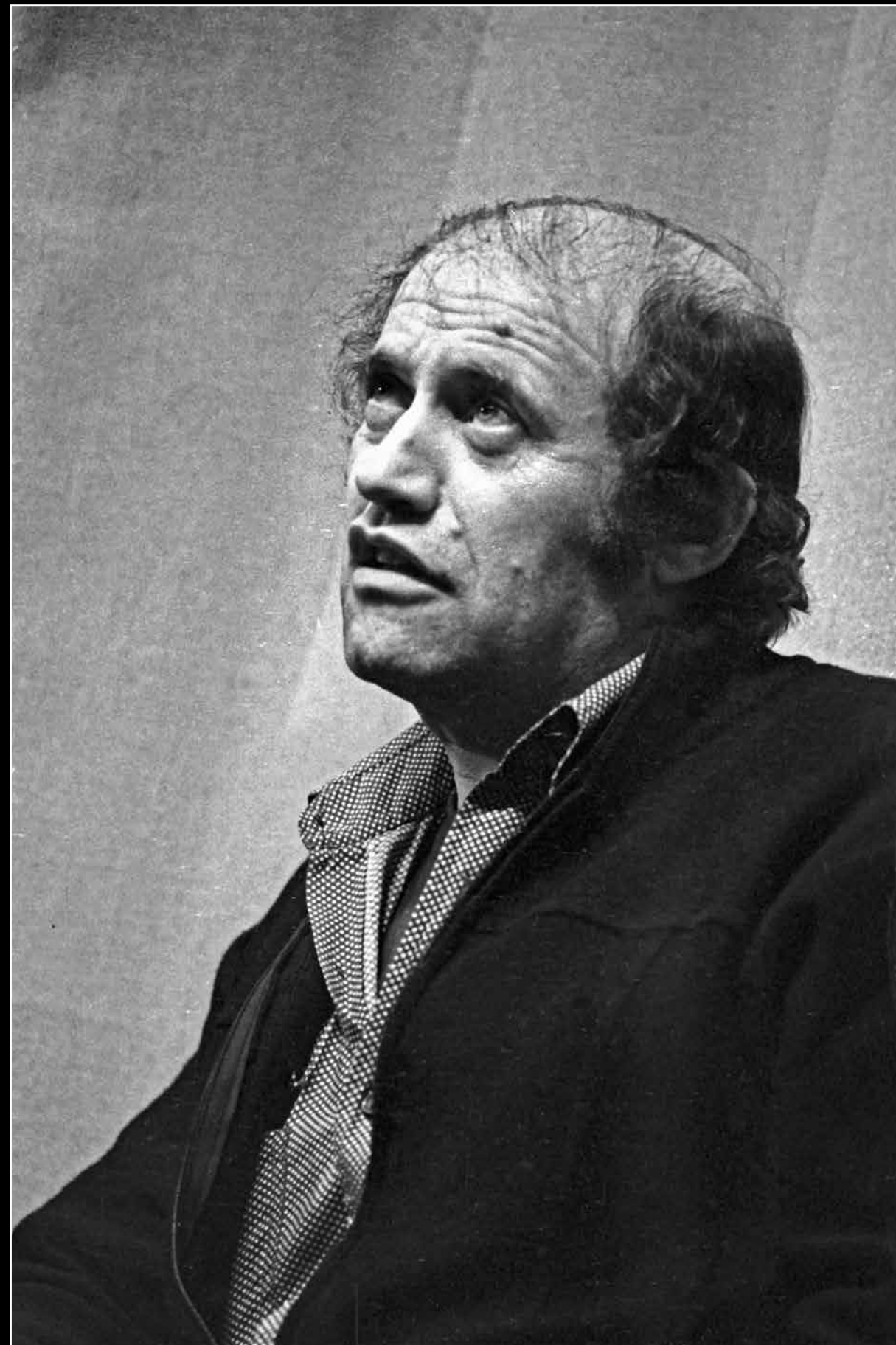
Гаснет свет и тут же вспыхивает прожектором...под ним Высоцкий:

«Гул затих. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку, –
Я ищу в далеком отголоске
Все, что будет на моем веку...»

Вдруг откуда-то свыше медленно оседает темное полотнище, – уже не парус – выдавливает Гамлета, спеленав по рукам, и он едва удерживается на краю могилы, если бы не появление Клавдия и Гертруды, – полотнище грубой вязки послушно, как пес, прячется за их спины, обернувшись тронем.

Это занавес, но придуманный и решенный Давидом Львовичем с небывалым театральным волшебством: он движется во всех плоскостях сцены, меняет форму, смысл, порой становясь полновесной метафорой...Занавес взвивается и носится вихрем, когда Высоцкий вопрошает: «Быть или не быть...» и знаменитый монолог оборачивается фехтовальным поединком, но пока с самим собой. Занавес перехватывает действие, обозначая то грозный Фатум, то паутину зла и в них барахтаются обитатели Эльсинора, идя к неотвратимому финалу.

Подобного не знал прежний театр: там режиссер придумывал мизансцены, художник рисовал декорации, причем задник сцены заполнялся живописнейшим пейзажем, а занавес только открывал благодарным зрителям подробности быта и закрывал их в перерыве, – таковы горизонты соцреализма, а дальше ходить не велено, правда, шаг вправо или шаг влево уже позволялся...и театры бодро маршировали.



Таганка, рожденная брехтовским бунтом, стала другим театром, угодным миру и негодным власти: мир дежурил каждый вечер у театрального подъезда за лишним билетом, власти же приходили и уходили, оставляя после себя унылый след глупости и чванства на пути к мавзолею.

«Бунт обнажает мир!» – сказал мудрец...И вот брехтовский бунт на Таганке обернулся нагим театральным пространством, в котором мир представлялся голым до безобразия, прозрачным до младенчества, жалким до уродства и ненасытным в своей плоти... Театр легко срывал ветхую рвань с «призрака коммунизма» и открывалась такая кровавая нагота, что зрители единым стыдом укрывались... Уже не король голый, а все мы – голытьба по крови, в которой вопиет слеза младенца.

30 лет работы Давида Боровского вместе с Юрием Любимовым на Таганке подарили миру невиданный прежде театр высочайших энергий, глубокого смысла, художественной изобретательности... Здесь художник поставил 20 спектаклей. По существу, он стал равноправным соавтором таких известных постановок Таганки, как «Обмен», «Товарищ, верь...», «Живой», «Мать», «А зори здесь тихие...», «Гамлет», «Дом на набережной», «Высоцкий» и др. Последняя по времени работа – спектакль «Шарашка» (по роману Александра Солженицына «В круге первом»).

Его называли гением вещественности, творцом предметного мира, признавали философом и поэтом. Щедрость фантазии и самоограничение, свобода и аскетизм, целостность и цельность мировоззрения, чувство юмора и чувство цехового братства сделали Давида Боровского легендой художественного мира. Он – Мастер, у которого огромная школа в границах целого мира.

Будучи человеком скромным, он был невероятно скуп на глаголы о мастерстве, говорил мало и негромко, впечатлениями делился только с близкими, но со всеми был щедр в готовности понять... «Знаете, если есть какой-то прибор, которым можно измерить зависимость, то сценограф, вероятно, и впрямь самый зависимый человек. Уж очень много факторов он должен учитывать. Есть мир автора – Чехова или Достоевского. Есть мое представление об этом мире. Есть представление о нем у режиссера. Есть театр, в котором будет идти спектакль, со своим настроением и труппой. И надо себя не потерять и это все как-то выразить. И сделать так, чтобы артистам было удобно. Я знаю прекрасных художников, которые рассуждают примерно так: вы там как хотите, а я уже все придумал. А, по-моему, сохранять зависимость, оставаясь при этом самим собой, это и есть самое увлекательное в нашей профессии...»

В другой раз по вескому поводу он скажет: «В искусстве важно так поставить глаз, чтобы видеть... Большинство лишь смотрит, но есть те, которые видят».

Его видение пространства было ближним и точным. Мне посчастливилось быть тому свидетелем. В 1980 году в Хабаровском театре драмы репетировали спектакль по В.Шукшину «А поутру они проснулись...», где режиссером был уже знаменитый Иосиф Райхельгауз, а сценографом Давид Боровский. Меня пригласили снимать рекламу спектакля. Увиденное в театральном зале ни с чем не спутать: железобе-

тонный пожарный занавес отрезает от зрителей сцену, сама же сцена достроена до половины зала и уставлена белыми железными больничными койками (действие происходит в вытрезвителе). Все! Железобетон совка, и пьянь, и обыденная трагикомедия...наотмашь в зал.

За три дня до премьеры прилетает Давид Львович. Садится в зале где-то сбоку, словно не при деле, вяло наблюдает генеральную репетицию час-другой, потом шепчется с режиссером. Из театральной столярки приносят воз свежих опилок и Давид рассыпает их подле каждой кровати и просит обрызгать их водой...Через минуту аромат вытрезвителя переполнил зал. На следующей репетиции он слоняется по залу и разглядывает прожектора, что будут светить от зрителя...Тут же ему приносят кисть и красный пигмент, которыми он спокойно мажет медицинский крест на линзе каждого фонаря. Теперь по лицам актеров блуждает ущербное красное пятно, как кумач в сортире... И всю свою работу Давид делал легко, с тем самым вялым спокойствием часовщика, что властвует временем.

Шел 1980. Страна спала. Хабаровск праздновал театр.

Многие годы спустя после шумных премьер по всему миру Давид Боровский решил выставить свои театральные работы чуть ли не впервые...

Все отговаривали его ехать в Колумбию.

Но он был непреклонен.

Ему говорили, что там трудный климат для сердечника.

Но он был непреклонен.

Ему напоминали, что он постоянно отказывался от персональных выставок в Москве, Берлине, Париже, зачем ему выставка в Колумбии?

Он был непреклонен.

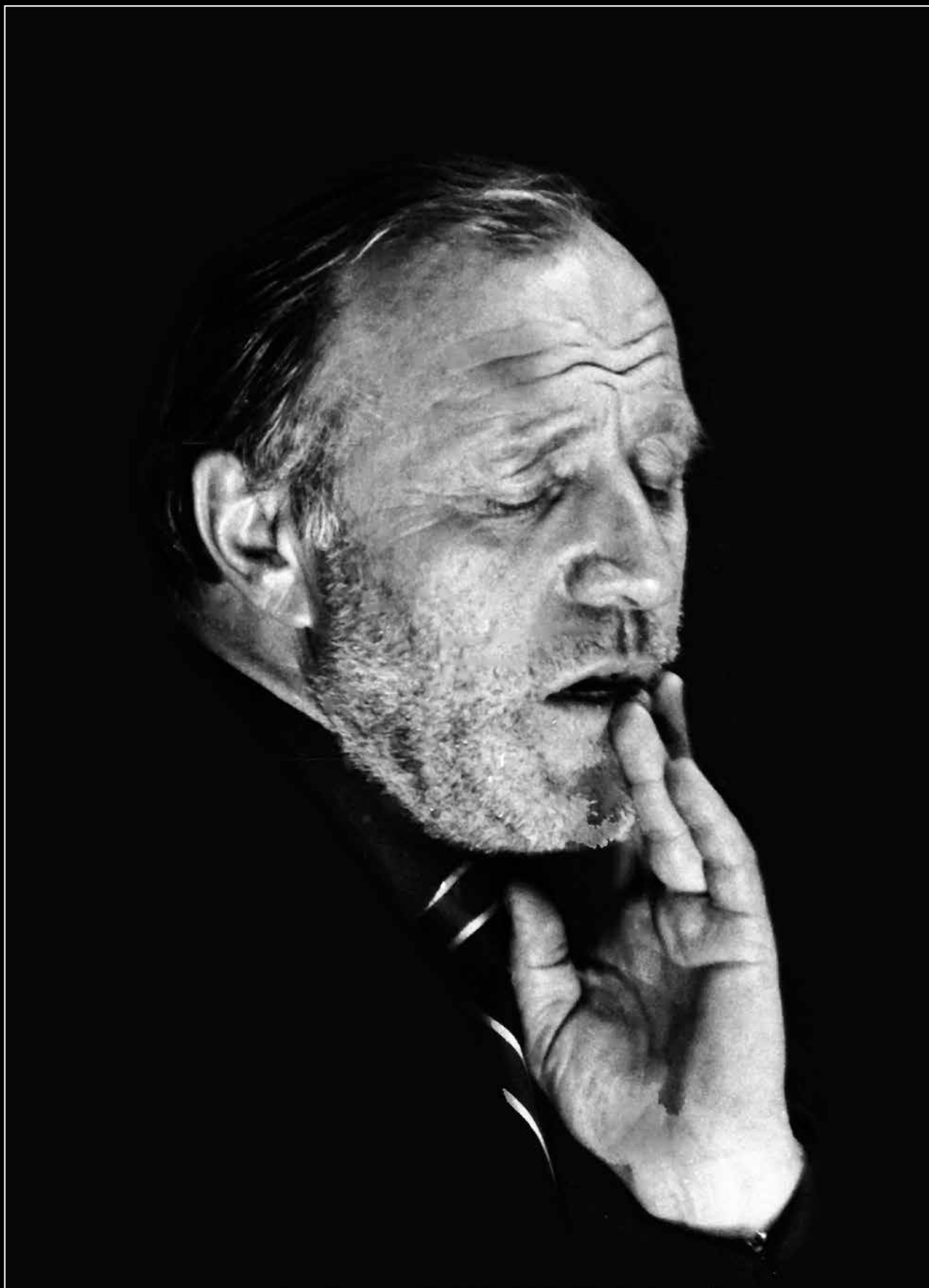
Как будто судьба вела его туда.

Выставка «Давид Боровский. Избранное» открылась в Боготе 1 апреля 2006 года. Через три дня у Давида Львовича случился обширный инфаркт.

6 апреля его не стало.

Но его присутствие продолжается.

Лев Додин, великий питерский режиссер, был долгие годы рядом и вместе с Мастером: «Давид за всю свою жизнь не совершил ни одного сомнительного поступка, он был абсолютно честным человеком, великим российским гражданином, настоящим русским интеллигентом, и поэтому, разумеется, подлинным гражданином мира. Постепенно я обнаруживал, что почти все крупные художественные личности 20 века так или иначе соприкасались с ним или вернее, как он считал, он соприкасался с ними. И всегда говорил о них с огромным почтением. Вообще способность увлекаться людьми, любить их, уважать было каким-то его удивительным свойством. Я не знаю людей, которые его не любили, и практически не знаю людей, которые его ненавидели. Когда такие люди уходят, что-то необратимо меняется в составе нашей крови.»



«Да, актерская профессия – странная профессия. Подозрительная профессия. Странная, мистическая и замечательная...» – скажет однажды Михаил Александрович Ульянов и промолчит продолжение.

Сыщется ли в России актер, равный ему по харизме, масштабу личности, способности судить и править мир, говоря ему крупную соленую правду с неотвратимой прямоотой?! Не уверен... «Что он Гекубе, что ему Гекуба, чтобы о ней страдать?!»

Актер, лицедей, скоморох (себя он так и называл) был одарен от природы величайшей пассионарностью, жил круто и в гору, бесчинствовал на сцене так, что кулисы дымили, сотрясал экраны кино, а по жизни шел крупно и неспешно. Он обладал какой-то тектонической энергией, которая сотрясала обыденность и возвращала к настоящей жизни.

«Есть в нашей профессии, – признавался Михаил Ульянов, – такой миг дрожи душевной, похожей, может быть, на дрожь золотоискателя, нашедшего драгоценную россыпь, когда кажется, что ты у предела своих мечтаний. И уже не спишь, и уже внутренне ты сыграл всю роль и не можешь дождаться утра, чтобы поделиться своим открытием, уже готов к работе немедленной, захватывающей. Уже нужны тебе союзники, товарищи по работе и ты спешишь в театр...»

В театр, куда вернулся бы Шекспир, где актер «...в безумье вверг бы грешных, чистых – в ужас, не знающих – в смятение, и поразил бы бессилием их уши и глаза...» И ежели Шекспир говорил, что весь мир – театр, а люди в нем актеры, то такой театр соразмерен Михаилу Ульянову с его «безмерностью в мире мер»: Ричард III и маршал Жуков, Дмитрий Карамазов и Наполеон, Тевье-молочник и Егор Трубников, Понтий Пилат и генерал Чарнота, Великий Инквизитор и Ленин... – большие роли большого актера, исполненные с размахом и тайной досадой Мастера о несбывшемся, но ему одному известном.

«Тогда, в 1970 году, к 100-летию Ленина наступило совершеннейшее половодье исполнителей роли Ильича. Ужас заключался в том, что в каждом из 365 театров страны шли спектакли с Лениным. Это было всенепременно и обязательно. Это был приказ. Указ. Неукоснительное требование. И 365 актеров, картавя, бегали по сценкам, закрутив руки себе под мышки. И 365 актеров, подходящих или вовсе не подходящих к этой роли, талантливых или бездарных, лишь бы не был выше 172-х сантиметров ростом, все годились на роль Ленина.»

А чуть позже в своей сокровенной книге «Возвращаясь к самому себе» он допишет: «Неподкупное время стирает фальшь, разоблачает подделку, выбрасывает на помойку лжеца, отдает должное честному художнику, задвинутому в угол власть имущими и коллегами, завистливыми к его таланту и угодливыми к власти.»

Сказано внятно, жестко, выпукло, отлито в слове...

Февральским ветром Михаила Александровича занесло в Иркутск, его портрет написала Галя Новикова, а Виталий Венгер обнял своего доброго друга и однокурсника по Щукинскому училищу. Они – актеры одной крови, одной тайны...

Актерская тайна Виталия Константиновича Венгера, кажется, не имеет разгадки и для него самого. Сколько бы не написал он книг о театре, а написал он уже на одну книгу больше, чем его друг Михаил Ульянов, – возможно ли приблизиться к актерской тайне, если она смущала еще самого Шекспира?!

Однажды я было попробовал сделать фотокнигу об актере, назвав ее «Лики судьбы», без устали снимал его на репетициях, в гримерке, за кулисами, дома... Было занятно наблюдать его жизненные перемещения, в которых был свой театр, – попадая в иное пространство, актер мгновенно вживался в него, наполнял собой настолько, что все сверкало и искрилось его присутствием. Я удивился: каждый шаг его становился мизансценой, в повороте головы уже присутствовала интрига, сказанное невзначай становилось репликой, а ремарки этой пьесы сами встраивались в сюжет съемки. Поехали было к нему на дачу в самом начале лета. Прячась от студенного ветра, зашли в теплицу, где грядки были еще не тронуты, а стекла светлы, чисты, как перед премьерой. Спектакль для единственного зрителя начался тут же: Виля принес бутылку водки, рюмочки, сам расположился на «подмостках» и омытые стекла теплицы сомкнулись бликами в кристалл ожидания, а наша нехитрая трапеза обернулась королевским пиром.

Волшебник и чародей, воспитанный в лучшей театральной мастерской страны, где вместе с ним Михаил Ульянов и Юлия Борисова постигали сценические премудрости от единомышленников Евгения Вахтангова, он дословно запомнит завет учителя: «Дело жизни, назначение ее – радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И блюди за тем, чтобы эта радость ничем не нарушалась. Нарушается эта радость чаще всего корыстью, честолюбием, – и то, и другое удовлетворяется трудом.»

Запомнит и исполнит, выйдя на сцену в лучшем спектакле о себе самом и закадычном друге Викторе Егунове, где они были вместе и заодно.

Я говорю про «Лес» А.Н. Островского. Комедия по определению автора в постановке Вячеслава Кокорина игралась как высокая трагедия, источающая радость признания жизни. Диалог двух актеров взрывался звездными вспышками и затихал в немой радости...

«Зачем же даром изнашивать свою душу! – вопрошал Несчастливцев-Венгер, – Кто здесь откликнется на твое богатое чувство? Кто оценит эти перлы, эти брильянты слез? Кто, кроме меня? А там... О! Если половину этих сокровищ ты брошишь публике, театр развалится от рукоплесканий. Тебя засыплют цветами, подарками. Здесь на твои рыдания, на твои стоны нет ответа; а там за одну слезу твою заплачет тысяча глаз.»

А мы, повинувшись своей зрительской участи сидели в зале, радовались узнаванию и горевали предчувствием, что так просто это не кончится, что мы – зрители уходящего театра, где Виталий Венгер и Виктор Егунов исповедуются нам о самом сокровенном, что испытали на сцене и увидели в миру, что обнажится пропасть едва оборвется исповедь, театр рухнет в нее, а нам останутся только воспомина



ния, только образ Несчастливцева с вечными загадками живого актера.

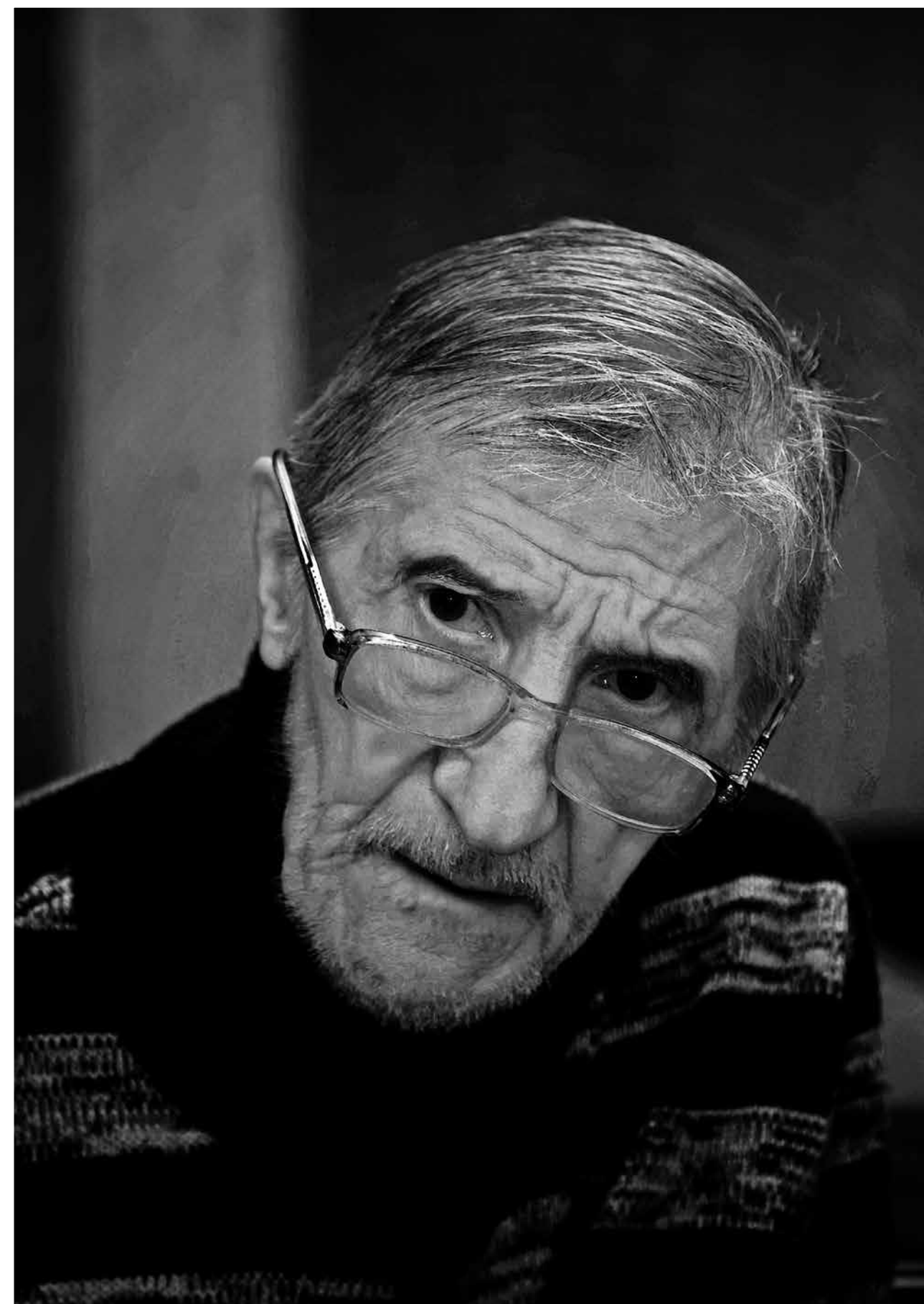
«Комедианты? Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты — вы. Мы коли любим, так уж любим; коли не любим, так ссоримся или деремся; коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы? Вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите только самих себя, самих себя забавляете. Вы комедианты, шуты, а не мы.»

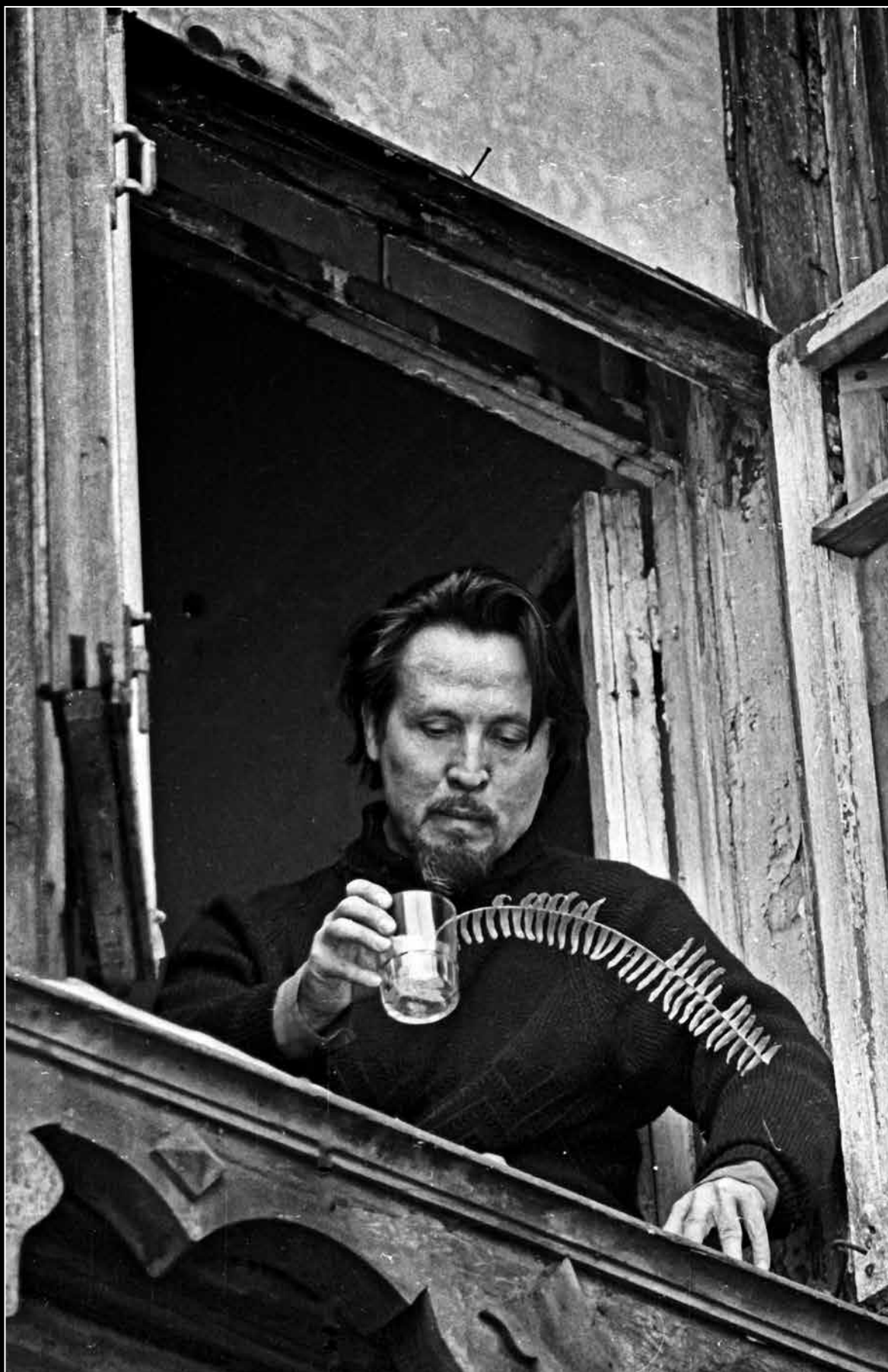
Заключительным монологом Несчастливцева закончилась эпоха театральных открытий, хотя будут впереди Тевье-молочник и Король Лир, будет успех, поклонны и поклонники... Будет болезнь, студенный ветер огорчений из родных стен, затворничество с пишущей машинкой и нескончаемые строки той исповеди, что зародилась в «Лесе» и продолжается в его книгах. Обнаженная память диктует заветные слова о театре, братьях-актерах, рыцарском служении сцене и собственной судьбе, попавшей в заложники погасшему времени.

В современной западной драматургии есть пьесы, словно специально «под Виллю» написанные. Читая Сэмюэля Беккета, мне мерещился Венгер в главных ролях — мера сложности и глубины написанного совпадали с его ненасытной глубиной и многомерностью дара. Но сегодняшний театр в провинции развлекает и развлекается сам, заботясь о кассе и не ведая собственной неполноценности... «Лес» снова стал комедией для искушенных... Примитивное лицедейство обросло павлиньими перьями, заботы о мире перекочевали на паперть, «духовные скрепы» торчат засовами, культура мается запретами...

А я вновь перелистываю его книгу «Птицы небесные», где все сказки о друзьях-актерах, об их странностях и причудах, где речь о щедрости и бескорыстии, послушании и бунтах... Листаю, перечитываю, припрятав желание выведать актерскую тайну, что ведет пишущую руку по лабиринтам памяти...

Понимаю, что «тайна сия велика есть» или, как сказал бы Михаил Александрович Ульянов: «Мы все сказочники, мы — представляем... И это — прекрасно... По-человечески добро и щедро. Мы одариваем зрителя фейерверком выдумки, находчивости, веселья, остроумия, той самой актерской храбрости, и зритель, сам не зная как, чувствует, что все эти дары от доброго, расположенного к нему сердца театра.»





Весенний человек, Андрей Филиппович Рубцов, был совсем рядом, – стоило чуть пошевелиться и ты у него в гостях. Замечательно старый деревянный с подклетью дом на улице Горького приютил было семью художника. Зимой все тонуло в сугробах и скрип снежных шагов добавлялся к скрипичному звуку трамвая на повороте, а весной цветущая во дворе черемуха льнула к окнам, словно просилась ближе к человеку.

И дом распахивал окна, впуская свежий лепет приходящего лета. А весенний человек, тоже распахнутый наружу, шел неспешно в свою мастерскую к кистям и холстам, шел по главной улице, ища в знакомых лицах только ему понятный черемуховый отсвет.

Мой дом оказался однажды на его пути, Андрей и зашел воскресным утром. «Пора старый город с весной поздравлять, а то он нас совсем забудет, чего и допустить нельзя...», – сказал он со значением. И мы тотчас отправились. Мало что понимая, я зашел вслед за ним в незнакомый старый дворик, где обитатели уже развешивали белье на фоне векового сруба. Андрей достал из кармана бутылку водки, два стакана, и попросил разрешения у хозяев присесть на лавочку и выпить за «устойчивость дома». Те с радостью пригласили, а потом еще и в закуску хлеба с огурчиком поднесли. Мы выпили, не суетясь, поклонились домашним и отправились дальше. Так мы и ходили из дома в дом, из двора во двор, пока хватило поздравительного сосуда. Нас встречали незнакомые прежде люди, нам радовались, привечали нас и угощали. Мы же с чувством исполненной миссии возвращались домой, – город не остался без поздравления.

Это был мой первый урок отрешения от суеты навстречу неизведанному родству всего живого и незнакомого. Так легко и просто. Художественно безупречно.

Мы не ведали тогда, лет сорок назад, как наш город будет истаивать на глазах: первой покинет нас черемуха, потом вековые скверы вырубят, а деревянные дома просто выжгут при живых обитателях или на дрова пустят... А после тихого погрома начнется громкая стройка, кич из бревнышек на бетонных ногах, и назовут историческим кварталом очередной торговый ряд: резные окна залепят рекламой, девок с прялками и краснами рассадят, хищника с городского герба привлекут, пашлыками повеет... Призрак одинокого губернатора, затеявшего эту чудь, еще долго будет замечен на заметных улицах и торговых площадях нашего захолустья.

К счастью, художники сторонятся призраков, общаясь с достоверностью своей воли и дерзостью собственной фантазии, совсем не считаясь с переменчивостью мира.

Рассказывают, будто Казимир Малевич однажды писал этюды на крымском пляже, где серое море сливалось с серым небом, но на его этюднике стоял набросок алеющей зари, которая была вчера... Также известно, что Пикассо, не покидая оккупированный Париж, работал в нетопленной мастерской. Когда бонзы от СС пришли его уговаривать на сотрудничество, обещая уют и тепло, он простодушно отказался, заявив: «Испанцу не может быть холодно...»

Весенний художник Андрей Рубцов пишет старый Иркутск, уже стертый с глаз, собственное детство, не погасившее красок, поющую мать, отзывающуюся эхом, и сверстников отца... пишет честно и плотно, сумрачно и страстно, восходя по цветовым ступеням своего мира и чутко вслушиваясь в светлеющую полоску у горизонта.

Будет рассвет. Будет льнуть к окну черемуха. Будет лестница на чердак.



Генрих Густавович Нейгауз сравнивал его голову с куполом собора Святого Петра в Риме: «Это был человек очень сложного темперамента и, в то же время, бесконечно нежный и очень острый. И очень агрессивный в положительном смысле слова, напористый, полный воли.»

Когда юный Святослав Рихтер приехал поступать в Московскую консерваторию, то профессора хохотнули: «У него нет даже начального музыкального образования...» На прослушивании он сыграл Бетховена и Шопена и обомлевший Нейхгауз прошептал окружающим: «По-моему, он – гений!».

«Меня приняли, взяв обещание, что я сдам все экзамены. Но я ничего не сдавал... Нейгауз был мне как отец. Я жил у Нейгауза. Он освободил мой звук и дал ощущение пауз...»

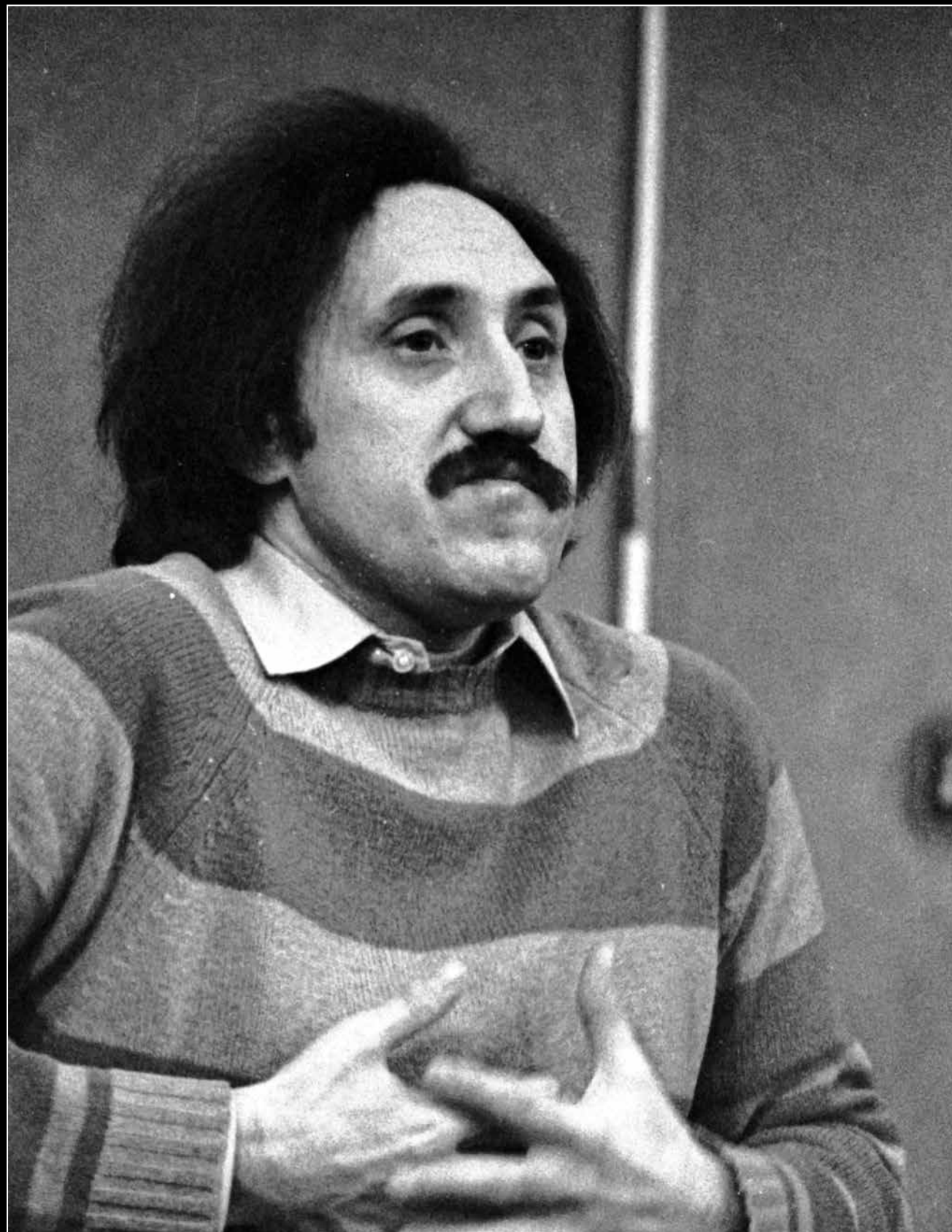
Когда настало время выпускного концерта за студентом Св. Рихтером оставался несданным экзамен по научному коммунизму. Нейхгауз упрямил преподавателей быть снисходительными. И на экзамене они задали простейший вопрос:—Кем был Карл Маркс? Рихтер немного помялся и ответил:—По-моему, социалистом-утопистом...

«...в 53-м Сталин – «аофидерзейн», я в это время был в Тбилиси. Мне говорят: вам надо лететь в Москву, играть на похоронах Сталина. А вылететь было невозможно, так я и полетел в самолете, маленьком военном, на котором везли венки из Грузии. Играл на пианино и близко видел и мертвого Сталина, и Маленкова, всех руководителей. Сыграл и вышел на улицу. Москва была в трауре, я – нет.»

Однажды еще в 1970-м был объявлен концерт Рихтера в Иркутске, билеты не продавались...Будучи зеленым студентом, я и мечтать не смел...Однако ж удача явилась в облике Владимира Шагина, который провел, ввел, усадил и попросил снимать с осторожностью. Я установил камеру на штатив, оставалось ждать.

В назначенное время вышел Святослав Теофилович, поклонился и сел за рояль. Восхищенные слушатели не могли успокоиться...вот уже тишина, только редкие шепотки доносятся...Пианист было поднял над клавиатурой руки, но резко отдернул, поднял, свел пальцы и вопросительно взглянул в зал...Я снял первый кадр. Рихтер тут же встал и удалился за кулисы, а вместо него вышел импрессарио и попросил впредь не снимать, напомнив, что Святослав Теофилович начнет концерт только при абсолютной тишине. Я убрал камеру, молясь на единственный кадр. Музыка заполнила зал, я был вместе со всеми, Рихтер играл Шумана.

«Я не играю для публики, я играю для себя, и чем лучше играю для себя, тем лучше воспринимает концерты публика. Самое трудное и важное в музыке – это пианиссимо. Я обычно играл три часа в день, а когда надо было срочно что-то выучить, то играл по 10-12 часов, но это не часто, это неправда, что я много занимался. У меня было 80 программ концертных, я их играл наизусть, а однажды подумал: надо внимательно смотреть в ноты, тогда будешь играть, как написано, и стал играть по нотам.»



Дмитрий Викторович Покровский открыл миру если не новый материк, то давно забытую цивилизацию с уникальной музыкальной культурой, – Поморье, русский Север. Его певческая команда отправилась к поморам в экспедицию за фольклорным материалом... Они попали в уникальный мир с сохранившимися языческими традициями, которые понимали певческий голос, как магическую часть природы, способную влиять на небеса, поднимать душу до небес, врачевать и править человеческую жизнь. Все это не только хранилось в памяти, но и пользовалось в деревенском обиходе, чтилось подобно утреннему появлению солнышка. Мощь, сила и свежесть певческих голосов не имели подобия ни в одной вокальной школе, песенное дыхание удивляло органикой, а распевное многоголосие покоряло своей значительностью...

«Вообще, самая первая идея – это та, что бабушки, очень слабенькие и хиленькие, умудрялись (я тогда просто однажды случайно совершенно увидел их в деревне, я тогда не был ещё ни фольклористом, ничем) не напрягаясь, не краснея, издавать звук по громкости почти реактивного двигателя. Это такая мощь, что слёзы из глаз текут просто от мощности этого звука. И я стал заниматься спектральным анализом, нагло рентген делал, частоты все записывал...»

Команда на все лето осела в северных деревнях, где безропотные деревенские старухи терпеливо учили его девушек и парней, молодых музыкантов, своей песенной магии, содержащей столько чудес, что РенТВ и не снилось...

«Оказалось, что если посылать песенный звук определенной частоты в безоблачное летнее небо, то небесная влага от этих частотных колебаний начинает концентрироваться, вырастает в облако и проливается дождем, – три часа пения на открытом и приподнятом месте, – рассказывал при встрече Митя (он так представился при знакомстве), и скупой дождик сыпется на тебя. Мы все были настолько захвачены энергетической плотностью их пения, поднявшегося до природной неповторимости, что чувствовали себя избранниками другой культуры, в которой все непрерывно, все нераздельно, а мастерство всеобщее и без различий. Пропела песню – человек излечился, поднялся на ноги; пропела песню – избавилась от бесплодия и понесла; пропела – и работа удалась... все просто и безыскусно, – никакой сакральности, как после дождичка в четверг.»

Ох! «Много званых, да мало избранных...» – подумалось после концерта, когда даже стены вибрировали под их голосами, а старинные русские распевы перекликались с музыкальным авангардом, – ансамбль Дмитрия Покровского настолько блестяще освоил ту музыкальную Атлантиду, что ее феномен воззвал к себе современную музыку. Много лет спустя Дмитрий решится на безоглядный эксперимент, поставив оперу И. Стравинского «Свадебка» в Нью-Йорке на сцене Бруклинской академии музыки. Это стало мировой музыкальной сенсацией: ансамбль Дмитрия Покровского, ансамбль ударных инструментов и четыре рояля, управляемые компьютером, дирижировал сам Дмитрий Покровский. Эксперимент убедительно доказал, что едва ли не самое авангардное произведение И. Стравинского построено

по законам фольклора.

«Свадебка» – это первое авторское произведение, которое ансамбль исполнил, нарушив концепции произведения, законов жанра, но при этом, перевернув абсолютно все, и нашел нечто совершенно неожиданное, создав то, что нельзя было и вообразить. Это и есть тот самый пресловутый новый шаг, сделанный ансамблем и мною, как частью его. Мы нашли новый язык, новый путь, и теперь его можно развивать. При этом его, практически, нельзя, невозможно растиражировать, потому, что непонятно, как именно это сделано ...»

Такое открытие сродни колумбову: светлейшая идея глубокого родства фольклора и авангарда в современном культурном пространстве подняло бы сегодняшнюю чахлую культурологию на высокий горизонт, с которого бы столько увиделось...но не хватило жизни, чтоб закончить диссертацию, над которой он работал последние годы...

Колесная лира поет свой реквием.

Да, колесная лира, удивительный инструмент казачьего музыкального обихода, который экспедиция Д.Покровского нашла на Дону. Она исходит плачем степных дорог, в ее звуках скрипит сверчком полуденная тишина, а теплые обертоны дерева вызывают образ колеблемой свечи. И голос ее неумолим, как голос судьбы...

А судьба распорядилась щедро. Получив музыкальное образование по классу балалайки и дирижирования оркестром народных инструментов, Дмитрий озадачился авангардным музицированием: А.Шнитке, О.Мессиан, А.Шенберг...

В путешествиях от фольклора к современности и обратно азарт научной полемики вместе с пылкостью артиста провоцировали встречи, неожиданность которых ни в коей мере не означала их непредсказуемости. Встретившись с американским единомышленником Полом Уинтером, они совместно записывают удивительный альбом народных распевов, в котором голоса Андрея Котова, Татьяны Смысловой, Ирины Смурыгиной в стройном ладу перекликаются с американскими, связывая русское многоголосие с переливами спиричуэлс. Лев Додин вместе с музыкой Д.Покровского ставит на своей знаменитой сцене в Петербурге «Повелителя мух» У.Голдинга. Юрий Любимов приглашает их на Таганку в постановку «Бориса Годунова», спектакль обернулся полным запретом и изгнанием великого режиссера.

Предсказуемым было только поведение властей: деятельность Дмитрия Покровского никто не запрещал, но и не «пушал». Еще бы?! А как прикажете быть с ансамблем песни и пляски НКВД или ансамблем «Березка» – народ предпочитает их «народную» музыку, да чтобы в ней «Валенки» запели...

«Была плотная стена с четкой границей между городской музыкой, как-то ориентированной на классику, или, скажем, на мир, – и музыкой тоже городской, но ориентированной на нижние слои городского и на сельское население, как бы «сниженная» культура. Ведь что такое официальная «русская народная музыка»? Те же немецкие гармонии, те же принципы аранжировки и инструментовки, которые применяются во всей остальной музыке – от классической до эстрадной, только

покрашенные в национальные цвета, – для достижения неких политических целей, или решения коммерческих вопросов. Да, на этом государству зарабатывали достаточно много валюты, вот почему так поддерживались и до сих пор по инерции поддерживаются государственными структурами эти «покрашенные», «клюквенные» коллективы...

Когда очень страшно, когда то, что ты видишь, кажется совершенно безумным, абсолютно неверным, не совпадающим ни с чем, и при этом ты видишь только это и знаешь, что нужно делать, а все вокруг говорят, что ты неправ, – надо суметь остаться верным своему видению, своей интуиции. Ты должен быть маньяком искусства, пророком, слышать голос и идти дальше. Я не верю в то, что человек может что-то создать из самого себя. Просто он может в какой-то момент увидеть что-то, чего не видят другие, услышать что-то, чего не слышат другие. Наверное, личность художника в этом и есть. Личность – это честь, храбрость, холодный рассудок, который позволяет тебе в самый ответственный момент рассчитать все и не ошибиться, и не подвести всех вокруг тебя.»

В начале девяностых его ансамбль работал в Штатах, а сам Дмитрий успевал читать лекции студентам университетов, Гарвардского, Йельского, Пристонского, «Музыка традиций и культурная политика в России» назывался его курс.

На одном из приемов в Вашингтоне Дмитрий пересекся с Борисом Ельциным и тот, расплывшись в благодеяниях и щедростях, предложил Дмитрию всего-навсего...российское гражданство...

–Быть дважды гражданином своей страны для меня затруднительно..– ответил музыкант.

И вернулся в Россию. Здесь голос колесной лиры куда слышней, он поет через века песню тележного скрипа, как реквием авангарду...

«В самом себе я стараюсь сжигать все, что дает возможность удобно существовать. Иногда это очень больно бьет, потому, что тогда оказывается, что совершенно не на что опереться – и смятение наступает, и ужас, но когда из всего этого выныриваешь и заново создаешь – да, может, ту же песню, а может, что-то абсолютно новое, только тогда ты – художник.»

Американский композитор Джон Эплтон, используя музыку Дмитрия, написал вслед за его уходом электронную композицию «Дима добрался домой». На языке духовных гимнов-спиричуэлс слово «home» переводится «рай», синонимом ему «дом».

«Прощайте, прощайте, калитка Вселенной открыта,
Как жалко, как грустно, как хочется крикнуть: до встречи!..
И только Байкал как осколок лежит лазурита.
И длинное – О! – как осколок законченной речи.»

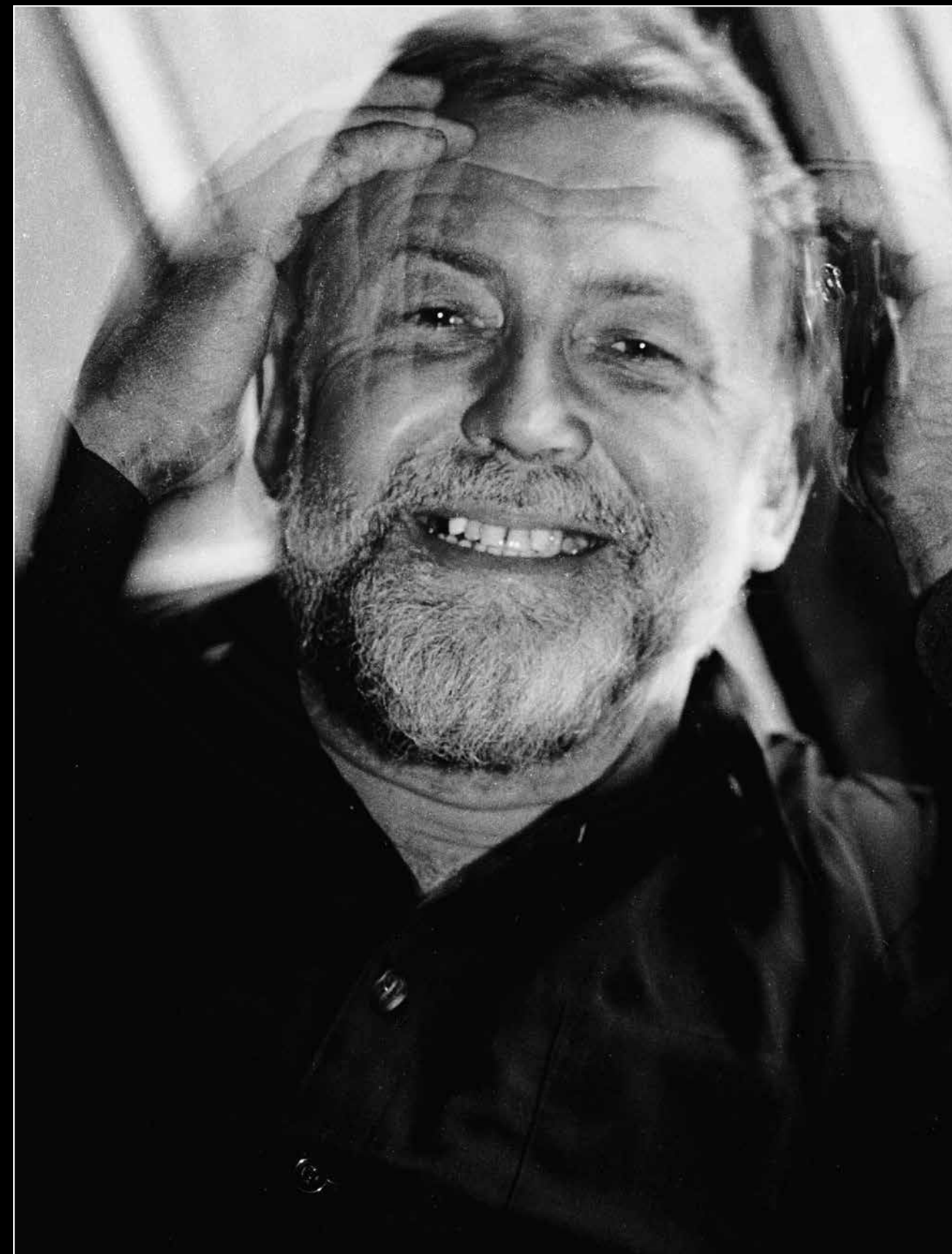
О Володе Пламеневском говорить в прошедшем времени не пристало. Наши часы, наш календарь и летоисчисление наше отставали от темпа его жизни. Она вся вращалась захватывающей скоростью вокруг единственной скрижали: «Затева-ется братство!». Унаследовав огромный мир собственной личности, он устремился строить мир снаружи по законам любви, дружества, братства. Архитектор и художник по разумению, поэт по призванию, мастеровой по жизни, он таил в себе замысел, уходящий за пределы жизни, – «взыскующий града» мыслил создать его для художников, смиренных и буйных, трезвенников и забулдыг, мыслителей и простофиль, гусар и инфантилов... Получив в наследство вместе с Крымом, где родился, идею волошинского Коктебеля, Володя щедро размахнулся на байкальском берегу, построив для начала картинную галерею в Листвянке. Сибирские волхвы кисти и мольберта тут же принесли свои дары, а ищущие красивых соблазнов приезжали, не скупилась и увозили грошевые, но лихие соблазны... Некий художник за полчаса изобразил тушью обглоданную воблу, в следующие полчаса ее уже купили. И тогда Володя сказал ему: «Быстро рисуй еще, только название измени, вместо ВОБЛА напиши ВО БЛЯ» Рисунок, скорее название, пошло в тираж и эта востребованная эстетика длилась бы бесконечно...

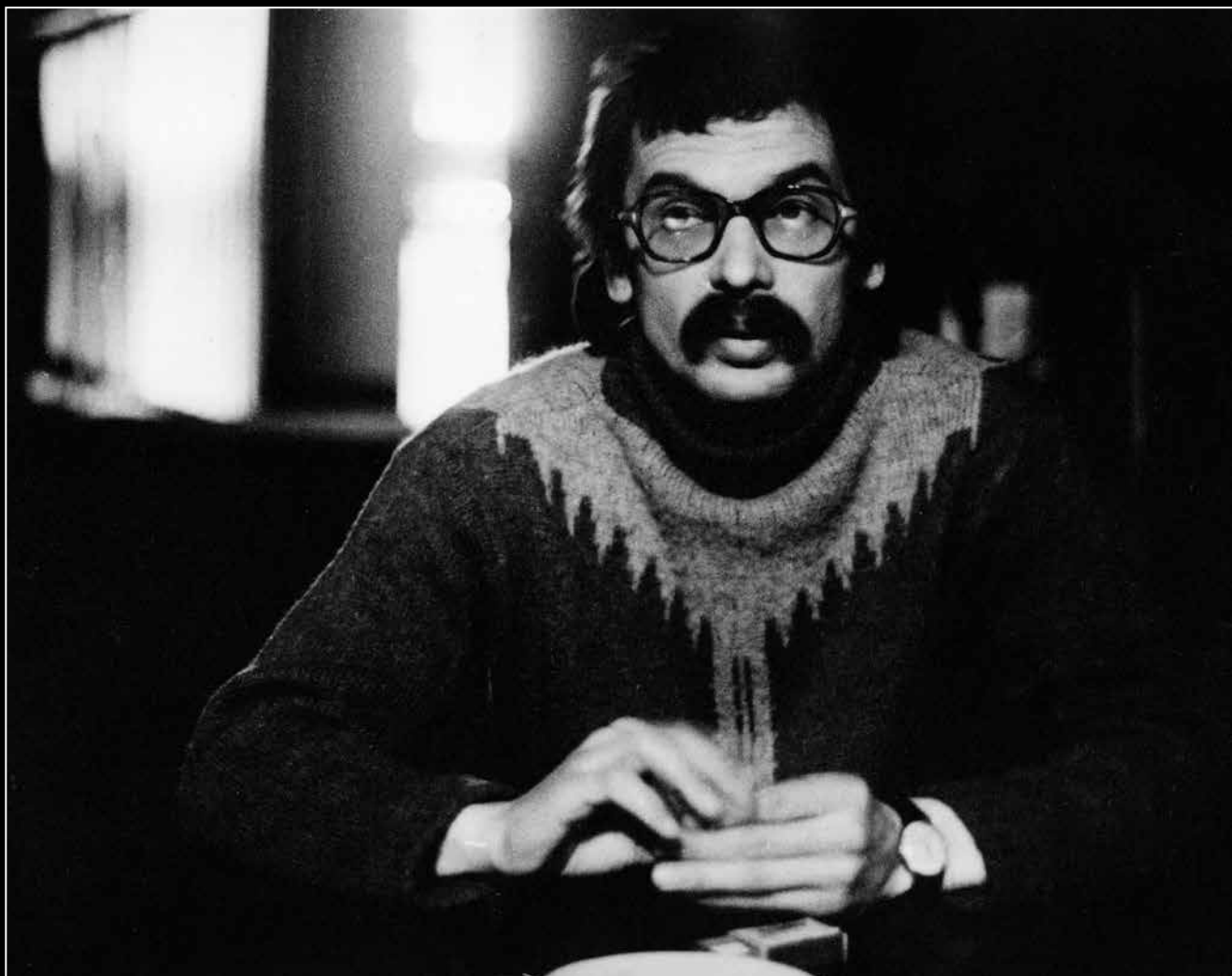
«Забыли», – сказал он завтра. В галерее уже висели полотна Галины Новиковой, Альбины Цибиковой, Евгения Урбановича, Валерия Осипова, а выставки, одна другой громче, сменяли друг друга... Съезжались художники и поэты, непримиримые и почти в обнимку, застревали в кураже и веселии, а вкусивши бесхитростного братства, возвращались в мир с открытыми глазами, поскольку узрели себя в ближнем.

Володя, между тем, успевал писать стихи, сажать картошку, ставить новые срубы под жилье и выставки, встречать гостей, провожать посетителей галереи, засиживаться в беседе с дорогими друзьями. Круг их рос безудержно и для нормального человека катастрофически... Если б это смущало хозяина! Смущало только жену и ту ненадолго... была отпущена.

Мир снаружи жесток и несправедлив, безрассуден и корыстен, глух к красоте и ненасытен... Был задуман иначе, но стал таким. Увы! Оттого, слагая по годам собственный мир, мы лелеем в нем сад своего трудолюбия, корим за праздность и лень, уповаем на чудо, дорожим книгами, идеями, дарами свыше, отгородившись от иного мира китайской стеной, за которой может быть только параллельная реальность с ее властями, чиновниками и опричниками...

Володя эту стену проломил, вышел во весь рост и сказал: «Затевадается братство!» Вскоре его не стало.





«Тащитесь, траурные клячи.
Актеры правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!»

Слава Кокорин «висел» на этом стихе Александра Блока еще в детские годы, когда в Улан-Удэ мы бегали в театральный кружок Дворца пионеров, где великолепный актер Борис Иванович Мостовой ласково журил нас за кулисами. Пути наши с тех пор разделились, пересеклись в пору театрального взлета Хабаровска, снова разошлись и сомкнулись в Иркутске, где со Славой родилась новая театральная эпоха...

Он и сейчас вспоминает: «Был бесконечно счастлив, можно было даже воскликнуть: «Остановись, мгновение!» Иркутск. Зима. Вечер. На улице – холод, метель. Я стою в фойе ТЮЗа, смотрю в окно, напротив – памятник Ленину, мимо идут люди, ежатся от холода, кутаются. А за моей спиной – зрительный зал, битком! На сцене – почти весь театр, «Пилигримы» во главе с Володей Соколовым. Идет «Сон в летнюю ночь». И сидят студенты, школьники, взрослые. Хохочут так, что ноги задираются. А я – посередине. Я вижу мир за окном, очень жесткий. И слышу за спиной тот мир, который сочинялся с моей помощью: где людям хорошо, они смеются, они счастливы, где звучит замечательная музыка Мендельсона и Соколова, где красивые молодые артисты Это было счастье. Я мог что-то сделать. Сейчас я понимаю, что этого больше не будет никогда. Это неповторимо. Такого театра, как Иркутский ТЮЗ, у меня больше не будет.»

Это было начало 80-х, и мы в те годы, чтя завет И.Бродского «Коль выпало в империи родиться - так лучше жить в глухой провинции у моря.» понимали прекрасно, что лучшего места и желать не надо: все тихо-спокойно, чиновники заняты собой, а ты успевай – занимайся своим делом.

Первый спектакль В. Кокорина в иркутском ТЮЗе «Лесная песня» Л.Украинки рождался трудно, красиво и слаженно: актеры собрались в единую команду, сценограф Наталья Ильинична Сельвинская, дочь великого поэта, подшивала иглолочкой огрехи кулис, Слава на взлете правил сложную симфонию зрелища...

И вот премьера. Неслыханный успех! В следующий вечер у театра было не протолкнуться,- волна настоящего, а не мнимого, что был прежде, театра поднялась и накрыла город... Потом последовали: «Малыш» по Стругацким, «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира и «Гамлет», «Предместье» А. Вампилова с глубоким, почти аутентичным прочтением «Старшего сына»... Театр в своей энергетике уже не вмещался в собственных стенах и выходил к своему зрителю, как гора шла к Магомету..Окрыленность успехом всегда рождает дерзкие проекты и тут инстинкт творчества в художнике перекрывает инстинкт самосохранения или вовсе гасит его... Только что созданный спектакль «Каин» по трагедии Байрона решили показать публике в только что отреставрированном Соборе Богоявления, – своя сцена была на ремонте, мало того, пригласили на просмотр ту самую, хорошо воспитан

ную КПССовскую интеллигенцию, что привыкла эстетические разногласия решать в ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ...

Сейчас Слава говорит в открытую: «Мой приятель Слава Филиппов написал письмо в КГБ на пару с Распутиным. Что я, мол, занимаюсь идеологическим, невыверенным театром, что на это надо обратить внимание. А ведь мы со Славой пили коньяк за мое здоровье, и на премьере моего спектакля «Гори, гори, моя звезда...» он кричал: «Браво!»...А потом мне стали прямо в глаза говорить гадости и такие письма писали: «Жидомасон, смывайся, пока мы не вырезали твою семью!» Тем временем,, я пробивал театру присвоение имени Вампилова и решился на пустяковую театральную импровизацию – передал В.Распутину для подписи письмо иркутской элиты в Министерство культуры с просьбой о присвоении театру имени Вампилова. Говорю как есть, хорошо помню ту ситуацию. Но писатель сказал: «Мне надоело быть в каждой бочке затычкой...» Для меня это – гнусная позиция. Уместно ли было называть ситуацию «бочкой», когда речь шла о Вампилове, и себя сравнивать с затычкой? Помню, как мы поставили спектакль «Каин». Дядя Валя, посмотрев его, сказал: «Нам еще только масонской задницы не хватало!» Как так можно? Звучит текст Байрона. Перевод Бунина. Звучит музыка Генделя... Но почему библейская тема запретна? Что за бред!?»

Тем не менее, театр носит имя своего великого земляка с тех пор, как состоялись его триумфальные гастроли в Москве. Помещение Малого театра на Драгомиловской давно отвыкло от такого потока театральных знаменитостей столицы, как на спектаклях Иркутского ТЮЗа. Я сам видел слезы восторга на глазах Виктора Сергеевича Розова, когда шел на сцене «Сон в летнюю ночь», а блестящий знаток театра Наталья Крымова (вдова Анатолия Эфроса) покидала театр с поклоном...

Но триумф, как известно, обольщает предсказуемостью успеха, и обольщает тех, кто от него не защищен. Стоило Вячеславу Всеволодовичу заикнуться труппе о грядущих реформах и переходе на контрактную систему, чтобы театр оставался «на волне», жил динамично и ярко, «по гамбургскому счету», наступили разлад, разброд, интриги... Поднялась пена.

Тем временем «хранители русского театра»(скорее хоронители), подняли фельетонную волну в прессе, где режиссер изображался таким ничтожным, что Кукрыниксы, еще живые, позавидовали бы, – «крошка Цахес» было наименее бранной формулой тех писаний.

Вот уж впору, добавил бы я: зачем нам враги, если есть такие друзья, чьи руки при слове «культура» тянутся... к партбилету!?

Но «иных уж нет...», нет и театра после отъезда В. Кокорина. Театр рухнул, как карточный домик.

Слава странствует из театра в театр, из города в город, из страны в страну со своим огромным театром, что умещается в его памяти, взывающей к поступку на сцене, как те стихотворные позывные Александра Блока, усвоенные нами еще в детстве.



Отец, погибший в Великую Отечественную в 1943-м, писал с фронта: «Не вернусь, мой фотоаппарат пусть возьмет Володя».

Так и случилось. Володя стал фоторепортером, на некоротком веку «Молодежки» самым заметным, самым отчаянным и самым непривередливым. Тривиальное репортажное событие он превращал в заглядение, люди на его портретах сияли характером и умом, а перекрытие Ангары в Усть-Илиме в его версии стало космическим происшествием... Большой мастер! Ему было тесно и неуютно работать с допотопной и неуклюжей советской аппаратурой, да еще обладая техническим даром и золотыми руками, как тогда говорили...Он придумывал и делал фантастические отражатели для вспышки, постоянно экспериментировал с оптикой, мастерил самые хитроумные приспособления... Своей изобретательностью он перекрывал несовершенство, чтобы быть впереди коллег, чтобы работать по самому верху убогой техники...Ему это удавалось, без сомнения.

Как репортер, он был легок и скор, при этом постоянно искал случай забраться туда, где «нога не ступала» – он сам пробивал нелегкую репортерскую тропу. И коль скоро мы, юные, напевали тогда в приступе журналистской романтики: «...трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете», то сегодня понятно, что была эта песня про Калаянова и составляла его будни.

В темный редакционный закуток можно было в любое время зайти через лабиринт черного бархата. Володя, неизменно элегантный, по обыкновению купался в проявителе, но встречал, как дорогого гостя, а в глазах светился азарт прошлой съемки, еще не изжитый... Его аристократическая приветливость поначалу сбивала с толку и ты забывал зачем пришел... Зачем-зачем?! Потрепаться с хорошим человеком! И Володя пускался в увлекательный рассказ о последней охоте, которая обошлась без добычи, об антиквариате не только фотографическом, о мотоциклах и автомобилях, что он лелеял собственными руками, как никакой автосервис не может...нам даже казалось, что его «колхозный запорожец» на ходу был не хуже Хаммера. Обаяние Володи отсвечивало изрядно даже в его автомобиле.

Это обаяние было настолько могучим, что делало его недоступным для обид, а потому Володя славился в редакции еще и как потерпевший от многих лихих розыгрышей, эпитграмм, дерзких шуток. Он всегда улыбался в ответ и отговаривался с легким заиканием: «Ст-т-таричек, спасибо, – потешил.»

Сейчас мне кажется, что Володя был целой эпохой добросердечия той редакционной жизни. С его уходом что-то утратилось, прервалось.

Дружеский «прикол» Лени Мончинского звучит сегодня, как веселая эпитафия.
Калаянов ты наш, Калаянов,
Гордость города на Ангаре.
Даже Ленин, который Ульянов,
О тебе не мечтал в Октябре.



Архиепископ Иркутский и Читинский Хризостом осчастливил своим недолгим пребыванием наши палестины еще в 80-х годах и был почитаем невероятно. Он не скрывал своих намерений, говорил то, что думал, поступал сообразно вере и, что совсем невероятно для тех времен, слыл вольнодумцем... А чтоб быть так увенчанным в те присные времена надо было явить признаки ума и смелости. Что оказалось заметно сразу. Однажды при его публичном общении с местной элитой, расположенной к вере Христовой, прозвучал вопрос: «А как себя чувствует Его Святейшество?» (подразумевался Патриарх Пимен) Хризостом простодушно ответил: «Право, не ведаю...И,более того, должного почтения не испытываю.» Неофиты рухнули от его слов.

Прежде Иркутска он занимал большую должность в Московской Патриархии, был отстранен и сослан в провинцию на епархиальное управление и в недолгие времена успел привлечь внимание к церкви простых обывателей, воспитать клир в рдении службой и заботе о пастве и напомнить власти о духовном благе. Общество входило в переломную эпоху 90-х, формировались новые предпочтения, призрак коммунизма ветшал, назревала эпоха номенклатурных «подсвечников», да и сама церковь нуждалась в оздоровлении своего небесного тела. Радения епископа на иркутской земле, увы, прервались неожиданно, – его вернули в Патриархию, наделили званием митрополита, полагая, что провинция его усмирила. Но неспроста в Писании сказано «Блаженны изгнанные правды ради»... И митрополит Хризостом на архиерейском Соборе поверг в шок собратьев-иерархов? Как это было?!

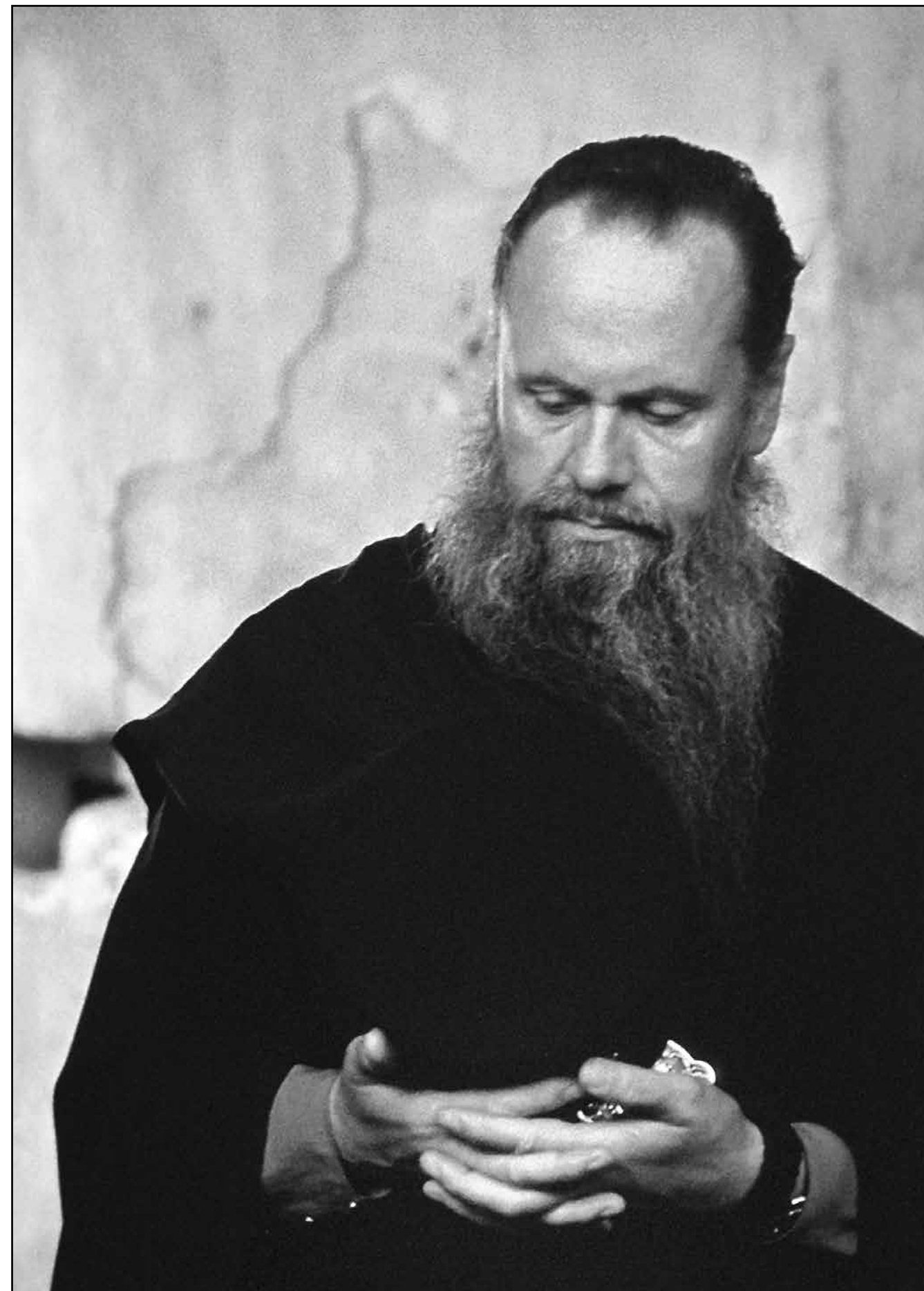
«В 1991 году я заявил, что имел контакты с органами КГБ. Это не было покаянием, но лишь констатацией того факта, что в течение 18 лет я общался с представителями органов. На Соборе 1992 года я действительно был сторонником создания комиссии по изучению контактов духовенства и прежде всего высших иерархов с госбезопасностью. Я никогда не осуждал и не обвинял тех, кто сотрудничал. Я хотел, чтобы комиссия выявила тех, кто предавал, клеветал, доносил на прихожан: такие духовники действительно заслуживали наказания – изгнания из наших рядов. Сам я контактировал с КГБ, но стукачом не был. А контактировать я был вынужден: такова была система. И я уверен, что подавляющее большинство архиереев вынуждены были вступать в контакты с органами. Весь вопрос в том, каков был стиль этих контактов: одни выслуживались и делали все, что им велели. Другие могли спорить, не соглашаться, отстаивать свою правду, как это делал я...» Его вновь сочли смутьяном и сослали подальше и поопасней – в католическую Литву. Там его встретили подобающе: трижды стреляли, пытаясь напугать или, того пуще, убить. Патриарх, будучи осведомленным, промолчал, Синод не заступился.

А что – вы спросите – Хризостом? Он с прежним усердием принялся за приходские дела и вскоре стал почитаемым в Вильнюсе, как никто иной из иерархов.

«Да, мы жили в атеистическом общества, да, мы были в подчинении у безбожной власти. Но мы здесь сопротивлялись, елико могли. Не в чем мне исповедовать свою вину – не моя вина, что я здесь родился. Я б никогда не уехал из безбожной страны, я считал своим долгом, обязанностью быть христианином именно в этой стране. Одно это нам вменится в добродетель – я убежден в этом. И не только нам – священнослужителям, но и всем верующим, всем кто исповедовал Христа здесь, как мог.»

С восхождением на патриарший престол Кирилла митрополит Хризостом был отправлен «на покой».

« У новой эры новые химеры.», как сказал поэт на прощанье.





Я учился фотографии на иркутских храмах.

В давние студенческие времена, по неосознанной привычке, я приходил к Спасу со своей немудреной фотокамерой, но с совершенно дивным по тем временам объективом, который расширял взгляд, а, может, и сознание до метафизических величин. Так было каждый Божий день все пять лет. На Спасе тогда открыли фрески под слоем штукатурки... Рассказывали, как в давние времена, когда «обком звонил в колокол», фрески приказано было закрасить и их забелили ночью известью... Наутро изображение проступило сквозь. тогда взяли известь погуще, — утром видят ту же картину: Спас восстал, словно явленный в нерукотворности... В ярости замесили цемент и замуровали, тем самым законсервировав и сохранив для наших смутных времен. Хорошо, что не соскребли и не взорвали. Собирались же...

Галина Геннадьевна Оранская, долгая ей память, рассказывала, как она впервые оказалась в Иркутске в хрущевские времена накануне визита президента Эйзенхауэра. Церковь собирались уничтожить, уже рассчитывали технику взрыва, от которого сдерживало единственное: пострадают не столько дома вокруг, сколько сам «серый дом». Галину Геннадьевну послало в Иркутск министерство культуры для экспертизы художественных достоинств храма, и она дала такую высокую оценку «памятнику архитектуры», что местные бонзы растерялись. Будучи женщиной с норовом, посоветовала им: «К приезду президента постройте вокруг церкви леса и расскажите ему про то, как вы собираетесь ее реставрировать!»

Большевики и дерзость скушали, и леса поставили. А лет через пятнадцать началась реставрация...

Я приходил ежедневно с фотокамерой и снимал, как открывались купола, опали леса, заново и надолго писались фрески. Потом я шел к Богоявлению, — там посреди развалин Гена Штанько творил свои бессмертные изразцы на фасаде, не успел, надсадился непосильной работой и дикой травлей, умер... Тот же, кто писал на него доносы, долго еще гулял по городу при орденах и с клеймом почета.

Но изразцы — на храме! Сияют! Я снимал, сам не зная для чего.. фотографии храмов тогда не печатались, само слово «храм» тупо вычеркивалось из газет. Отделение журналистики переполняли платные стукачи, которые после защиты дип-лома шли работать в КГБ, только что выгнали из страны Солженицына...

Но «ночь дышала самиздатом»! Огромное удовольствие состояло в самих съемках, обработке фотографий, услышанных историях... Радость, смысл и цель были заодно! А власть... Власть мельчала, существовала где-то ниже человеческого роста со всеми своими дубинками, коллочками, баньками.

Не оглядываясь на нее, и не ища славы, Галина Геннадьевна своей будничной и надсадной работой создала нынешний лик Иркутска, который не представить без Спасской церкви, Собора Богоявления, Троицкого Собора... музея Тальцы.

Проходя мимо храмов и осеняя себя Крестным Знаменем, вспомните великого архитектора Галину Геннадьевну Оранскую, — она так беспокоилась, чтоб мы не забыли себя.

И вот пришел Баргузин! Драгоценный подарок августа, «пошевеливая вал», покатился вдоль Байкала, как спелое яблоко. Небо расцвело гжелью, волны вздыбились фиолетом, поднялся плотным светом воздух и все понеслось вслед за ним... Резко качнулся спинакер, перехлестнулись брассы...яхтенные мореходы, уподобясь дирижерам сложной симфонии, с трудом развели перехлест... яхта приподнялась и полетела! Песенный баргузин подхватил и понес нас в своей стихии бережно и неудержимо... Плотный поток, ровный напор и радостная скорость.

Многочасовой штилевой ход утомляет, как всякое проявление стабильности, запикивает в свой уютный отстойник, где только и света, что в мерцании ряби на воде, но до нее не дотянуться... Однажды мы двое суток день и ночь шли в теплом штиле, минуя в этой жиже сотню миль. Подуло радостью только на входе в Чивыркуйский залив - здесь промежуточный финиш гонки, будет отдых на берегу с купаньем и рыбалкой, будет и затейливая гонка по треугольнику меж островов. Чивыркуй всегда продувает с баргузинской долины, облака на его небесах стерты ветрами, оком чист и воды прозрачны. И оттого путешествие на яхте поднимает каждого до небес. В этот час забываются будни,- очистительный ветер, поднимая паруса, пронизывает тебя и обращает твои мысли в кристалл, где есть все для роста, непрерывного и неустойчивого.

В те давние годы, что я вспоминаю, яхтклубы на Байкале были одержимы зависимостью от ветра, и только! Приходилось тратить деньги и немалые на содержание и поддержание лодок, такелажа и парусины, но это не мешало спорту: транс байкальские гонки устраивались каждое лето и выходили на старт до 20 яхт от полутонников «Ангара» и «Бабр» до крохотных «Ассолей», хоть и не всегда доходивших до финиша... Гонка «Бархатная осень», о которой много говорят теперь, почиталась скорее, как закрытие навигации с матросской гульбой и фейерверками.

Мы наивно мечтали под порывы ветра о будущем яхтенного флота на Байкале, где сама природа сотворила простор для паруса. Завтра, опрометчиво полагали мы, умрет дизельный флот, парусное пассажирское судоходство спасет Байкал от загрязнения, а наши дети будут любоваться водными пейзажами, расцвеченными парусами... Все случилось иначе и вопреки необузданным миражам и иллюзиям нашим: яхтенный спорт стал развлечением нуворишей, комфорт оказался предпочтительнее гоночных свойств, а экзотическая сантехника нужнее такелажа...

Что говорить о регатах?! Прежде парус был во славу Байкала, нынче во славу «меня, успешного».





РИЭЛ
полиграфический центр

Отпечатано: ООО ПЦ «РИЭЛ»
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 34В,
тел.: (3952) 484-100, 537-100, 59-11-25

Формат 220x290 мм
Бумага мелованная 130 гр.
Объём 15,69 усл. печ. листов
Тираж 500 экз.

Автор книги благодарит за бескорыстное и благородное
участие в ее издательской судьбе Сергея Петровича
Костюкова